

Артур Болен

**Последний
юности
аккорд**

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Артур Болен

Последний юности аккорд

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70252435

SelfPub; 2024

Аннотация

1979 год, пионерлагерь... Время и место способно вызвать прилив ностальгии у любого рожденного в СССР. Но пионерлагерь – понятие многозначное и часто не совпадающее с тем, что официально подразумевали под этим в советской стране. Автор описывает «самое счастливое лето в своей жизни», которое он провел вожатым в пионерском лагере на Карельском перешейке. Описывает предельно искренне и правдиво, не обходя тем острых и даже сомнительных.

Артур Болен

Последний юности аккорд

Я расскажу об одном лете своей юности, и расскажу особым образом. В жанре литературного рассказа. Так мне сподручнее поделиться счастьем с каждым, кто пережил счастье и забыть его не может. Так мне легче быть предельно искренним. Очень хочется, чтобы вас торкнуло так же, как и меня, когда я писал это. К тому же в рассказе много секса (так ведь юность же!). А о сексе лучше рассказывать, спрятавшись за пуленепробиваемым стеклом художественного вымысла. Но обязательно сверяясь с правдой и черпая в ней вдохновение! Ведь правда священна!

Главное для меня – донести до читателя аромат благополучного 1979 года. Поделиться ликованием юности! Возбудить негодование зачерствелых взрослых сердец хвастливым юношеским эгоизмом. Спровоцировать протест скучных моралистов и честных пуритан. Бейте, но без ожесточения! Ведь я никого не хотел обидеть. Только хотел еще раз полюбить. И у меня получилось...

Второстепенные обстоятельства истории не принципиальны. Они могут быть не точны и даже придуманы. Изменены фамилии и имена. Не придуманы характеры. Все главные герои вам знакомы.

Заставка к сюжету простая: трое взрослых друзей встре-

чаются по субботам в лесу (тот самый, за Народной) и рассказывают по очереди истории про любовь из своей жизни. Мне выпала первая очередь. Итак.

День выдался чудесный. С утра был морозец. Лес подсох и посвежел. Тонкий сиреневый пар, заштрихованный солнечными лучами, струился между мокрыми деревьями. Воздух звенел от вычурных трелей щеглов и зеленушек. В канавах плескались ручьи, навевающие сырой холод. Крепко пахло перегнившими листьями и болотной водой.

Мы шагали бойко, почти не разговаривая. Я с восторгом смотрел по сторонам и на дорогу. Кое-где в ложбинах еще лежали почерневшие обмылки последнего снега. Побеленная инеем сухая прошлогодняя трава на солнечных участках влажно блестела; тонкий ледок на мелких лужицах приятно хрустел под ногами, разбрызгивая лучи серебряных трещин; по краям луж на поверхность выдавливались маслянисто-черные густые капли и вновь всасывались под лед.

На нашей опушке уже было сухо. Мы привычно быстро натаскали дров, разожгли большой костер и зажарили отличный шашлык. Запивали мы его крепчайшим чаем моего приготовления из двухлитрового термоса. Потом мы закурили и заспорили о том, кому рассказывать в очередь. Андре отказался, сославшись на отсутствие вдохновения и рассказывать стал я.

– Я расскажу вам о самом счастливом лете в моей жизни. А вы уже сами решайте, можно ли этот рассказ назвать историей о любви. Случилось это в июне 1979 года. Я только что закончил первый курс в Ленинградском университете, на факультете журналистики. Славное это было времечко. На людей я в ту пору смотрел снисходительно и, пожалуй, даже с жалостью. И, правда, что было у них и что было у меня? У них были серые советские будни, а у меня – все! Силы немереные бурлили во мне, впереди были каникулы, четыре года приятной университетской жизни, а потом прекрасная карьера, женщины, слава. Да что там: впереди – вся жизнь, наполненная великими делами!

У меня на курсе было два друга. Один поэт, другой прозаик. Оба – гении. Об этом на факультете знали только мы трое, остальные догадывались, что с нами что-то не так, и недолгоблывали нас за это. Мы были не такие как все. От нас исходил запах, который добропорядочных комсомольцев настораживал и тревожил. Это нас веселило и наполняло гордостью.

Так вот, мы втроем должны были пройти месячную практику пионервожатыми в пионерском лагере. В обкоме комсомола нам выбрали лагерь, назывался он «Сосновка», снабдили какими-то сопроводительными документами и наказали такого-то числа быть на месте. Место было где-то в лесах Карельского перешейка. В день отъезда мы здорово надрались вместе с тремя однокурсниками, которые получили

комсомольские путевки в тот же лагерь. Пили пиво на чьей-то квартире в количествах страшных. Помню, как лежали мы на полу и читали по очереди стихи Есенина; помню, как к пивному ларьку Андрей ходил с книжкой Омара Хайяма и зачитывал его вирши перед робеющей толпой, а пиво мы наливали прямо в широкий никелированный тазик из-под белья, потому что не могли найти подходящего бидона. К вечеру мы назюзюкались очень хорошо и с песнями отправились на Финляндский вокзал. Песни пели мы и в электричке. На станции Сосново нас поджидал старый синий автобус с усатым водителем преклонных лет. Поглядев на нашу компанию, водитель нахмурился, сплюнул и молчал всю дорогу.

Пока мы пьянствовали, насчет нас вышло какое-то особое распоряжение: трех наших собутыльников водитель выгрузил в лагере под названием «Чайка». Мы обнялись крепко, как будто война разлучала нас, и долго махали друг другу руками, пока автобус не свернул за деревья. Сразу стало грустно, мы приумолкли. Автобус с кряхтением и натужным воем елозил по раздолбанной асфальтовой дороге, которая петляла между вековыми соснами и елями. Я вглядывался в глубокий зеленый мрак леса, но ничего не успевал разглядеть, кроме черничных кустов и мохнатых поваленных стволов. Потом колымага затряслась по проселочной дороге, и я увидел в сумерках блеснувшую гладь озера, деревянную пристань и покосившиеся сараи. Мы круто свернули налево, так что все повалились в проход между сидениями и, взре-

вев, машина забралась на крутой холм. Ворота растворились, мы въехали на территорию лагеря. Водитель заглушил мотор и не слова не говоря, ушел кого-то искать. Мы выбрались наружу, я огляделся. Солнце скрылось, в сумерках лес, стоявший стеной вокруг, казался серым и неприветливым. Мы находились на площади. Несколько крупных желтых строений окружали ее, окна в них не горели. Необыкновенная тишина поразила меня. Комары тонко тренькали в воздухе. Было по-вечернему свежо, сыро и только от капота автобуса пылало жаром мотора, там что-то тихо булькало, потрескивало; воняло маслом и бензином.

Мы сиротливо топтались около остывающей колымаги, рядом с чемоданами, ожидая своей участи. У меня башка трещала о проклятого пива, Андрюха потерял где-то кожаную кепку и злился, а уж разило от нас – не приведи Господь! Наконец, вернулся хмурый водитель и кивнул нам, чтоб шли за ним. Мы подхватили чемоданы и гуськом тронулись за ним. Вошли на скрипучее крыльцо высокого деревянного дома, и я увидел над дверью табличку с надписью «ШТАБ». Побросав чемоданы, мы зашли в темную комнату и повалились на огромный кожаный диван, который застонал под нами на разные голоса. Водитель вышел, буркнув что-то непонятно кому, мы огляделись и тотчас со скрипом отворилась дверь в соседнюю комнату, из которой появилась пожилая седовласая женщина со строгим обиженным лицом учительницы начальных классов. Мы встали как по команде, но,

впрочем, тут же опять повалились обратно в надрывно рывк-нувшие недра дивана. «Училка» тоже нахмурилась (у меня вообще сложилось впечатление, что, глядя на нас сегодня, взрослым сразу хотелось нахмуриться) и стала расспрашивать, кто мы и откуда. Отвечали мы односложно, стараясь не дышать в ее сторону. Вдруг дверь с улицы распахнулась и мы услышали чистый, грудной (и, главное, радостный!) девичий голос.

– Пополнение?!

На пороге стояла, улыбаясь, девушка в зеленой стройотрядовской форме. Я ее разглядел потом. Была она очень славненькая, симпатичная: невысокого роста, с короткой спортивной стрижкой, крепенькая, пухленькая, с ямочками на подбородке и на щеках. Взгляд у нее был интересный: любопытный, как будто приценивающийся, чуть циничный, но всегда, впрочем, веселый и бойкий, готовый и к кокетливой встрече, и к соперничеству, и к лицемерным уступкам, лишь бы все это было не слишком всерьез.

Боюсь, что наши красные глаза не выражали ничего, кроме покорной усталости.

– Надолго? – спросила девушка, закончив осмотр наших персон.

– На месяц, – ответил я за всех спекшимися губами.

– Ой, как мало!

– Хватит, – опять же за всех ответил я.

– Есть хотите?

– Сыты! – тут мы ответили хором.

– Ну что ж, тогда будем располагаться. Меня зовут Наташа. Я старшая пионервожатая, Зинаида Федоровна – старший педагог. Как видите, мы все тут старшие, – она неприступно рассмеялась. – Это хорошо, что вы приехали. У нас тут большой дефицит на юношей, – она опять засмеялась, поглядев на Зинаиду Федоровну, которая сложила руки за спиной на манер американского полицейского и даже не улыбалась.

– Ну, ну, – Наташа продолжала веселиться, – девушки у нас в лагере хорошие. Красивые. Вам понравятся.

– Ну вот что, – разомкнула свои уста старая ведьма. – Ты бы, милочка, лучше показала им палату, где можно переночевать, а то ведь за полночь уже.

– Ну конечно, покажу, Зинаида Федоровна, – всплеснула руками старшая пионервожатая. – Мальчики, наверное, устали. Вы устали, ребята?

Мы нехорошо молчали. Наташа капризно вздернула плечами.

– Ну ладно, вижу, что устали, идите за мной, пожалуйста.

По дороге она рассказала нам, что заезда детей еще не было, что начальник лагеря еще тоже в Ленинграде и приедет завтра, а пионервожатые уже здесь живут два дня и почти все с юридического факультета, и почти все – девушки.

– А вы с какого?

– Журналистика, – буркнул Андрей.

– Ух ты! – с неподдельным восхищением воскликнула Наталья. – Здорово. Журналисты. Вот это да.

Мне стало приятно, несмотря на усталость. Я еще подумал про себя: «Знала бы ты, глупая, что мы еще и гении, а не просто журналисты. Ну да всему свое время. Узнаешь».

Наташа привела нас к бараку, на котором значилось, что это отряд №7. Мы вошли в довольно просторную квадратную комнату, в которой двумя симметричными рядами стояли десять кроватей, аккуратно застеленных голубыми шерстяными одеялами.

– Это на первую ночь, – торопливо заверила нас Наташа, – а завтра устроим вас по отрядам. Отдельно и окончательно. Вы довольны?

– Да, – промямлили мы хором.

– Вот и хорошо, – она не уходила, и мы переминались с ноги на ногу. Она посмотрела на меня. Взгляд ее был какой-то неуверенный и влекущий. Вдруг она резко повернулась и вышла.

– Вот это да, – пробасил Славик и плюхнулся на кровать. Андрей за ним.

Я снял ботинки, носки, запихал чемодан под кровать, скинул одеяло и повалился в джинсах на чистое белье.

– Отдых.

– Это приятно...

– Отпад...

Минут десять мы просто лежали в сером безмолвии, глядя

в потолок. Где-то далеко в лесу чмокал и цокал соловей. На озере взревела моторка и захлебнулась. У меня слегка кружилась голова. Наволочка приятно холодила щеку и резко пахла крахмалом – этот казенный запах нравился мне, потому что воскрешал в памяти какие-то смутные детские воспоминания.

Вдруг дверь распахнулась и раздался резкий повелительный девичий голос.

– Есть тут кто-нибудь?!

Мы подскочили. Внезапно вспыхнул свет. Я стал застегивать молнию на джинсах, щурясь и шаркая под кроватью босыми ногами в поисках обуви. В дверях стояла девушка в джинсовом коротком платье. У меня почему-то екнуло, как от испуга, сердце. Была она смугла, стройна, с черными короткими волосами и черными пронзительными глазами. Что-то было в ее лице странное, властное, даже хищное. Быть может, крупный нос с горбинкой был тому причиной, или ярко-алые, неприлично влажные губы, или глубокие синие тени под глазами... А может, великоватый и тяжеловатый подбородок, который придавал лицу ее вид упрямый и непреклонный. Черные густые брови ее просто взлетали на красивый лоб. Если она и была красива, то на любителя острых ощущений.

Она стояла, широко расставив ноги, оперев руки в бока, и плотоядно ухмылялась.

– Новенькие? Ничего себе. Второй курс? Журналисты? –

когда она говорила негромко, голос был даже приятный, низкий, правда, с вульгарной хрипотцой. – Собирайтесь и – пошли. Тут у нас что-то вроде вечеринок. Познакомимся. Поближе. Тут недалеко, в пятом отряде.

Час от часу не легче! Мы повиновались. Даже мысль в голову не пришла ей перечить. Наша проводница подождала, пока мы соберемся, выключила свет и закрыла за нами дверь. Шли мы недолго. Пятый отряд находился точно в таком же длинном бараке, как и тот, в котором нам предстояло ночевать. Сначала мы вошли гуськом в темный холл, потом девушка распахнула дверь и мы увидели ярко освещенную, крохотную комнатку, в которой сидели за столом три девицы с картами в руках. Густой запах цветочных и восточных духов хлынул нам навстречу. У меня зарябило в глазах. Их трое и нас четверо, как мы поместились – не знаю. Меня усадили на свободное место, дали в руки липкий стакан с темно-красным вином и половинку печенья. Говорили все разом, пихались и хихикали, возбужденные этой невольной волнующей близостью, этой призрачно-ненастоящей июньской ночью за окном, дешевым сладким вином в граненых стаканах, молодостью, наконец. Как я любил в ту пору эти случайные студенческие вечеринки, когда тыходишь с предвкушающей радостью в круг людей симпатичных, но совершенно незнакомых, чтобы обрести через несколько часов или настоящую дружбу или пылкую любовь!

Всего девчонок было четверо, и я попытаюсь всех их вам

обрисовать. Нашу провожатую звали Наташей Сидорчук. Она была негласной предводительницей собрания. Напротив меня сидела блондинка с бледным худым лицом и мокрыми глазами. Казалось, она единственная притворялась, что ей весело, грустные серые глаза ее говорили об обратном, а бледное лицо готово было в любой момент принять плаксивое выражение. Звали ее Людой. Она была, пожалуй, постарше своих подруг и чувствовалось, что знала о жизни побольше, чем мы. Тем не менее вела она себя за игрой в карты весьма агрессивно и, заходя козырем, любила громко припечатывать любимой выражение: «Крести – дураки на месте». Другая, брюнетка, была широка в кости и в широкоскулом умном лице имела что-то монгольское. Звали ее Аллой Гордейчик. Непростая она была баба. Говорила она мало и всегда как-то непросто, с претензией. С ней невольно хотелось говорить только умные вещи, а получалось плохо, потому что она редко смеялась, редко обижалась, редко хвалила, редко восхищалась... Слушала и молчала. А молчала так, что хотелось оправдываться. Казалось, только необыкновенный подвиг может вдохновить ее на пылкое излияние чувств, только по-настоящему необыкновенный человек сможет поколебать ее спокойную надменность. Она завораживала. И это при том, что ее нельзя было назвать красавицей!

Третья, шатенка, сначала совсем не привлекла мое внимание. Ее звали Афониной Еленой. Она была симпатична, голубоглаза, мила и, похоже, единственная без претензий.

Улыбка не сходила с ее губ, смеялась она задорно и по любому поводу, в карты играла легкомысленно, как, видимо, и жила, и ничуть не переживала по поводу проигрыша.

Впрочем, карты мы вскоре забросили. На столе появились конфеты, чай, печенье и сухие яблоки. Затрещал разговор. Вскоре мы узнали, что начальника лагеря никто не видел и никто не знает, и вроде бы он директор какого-то техникума, что заезд детей в этом году поздний и они уже три дня живут в лагере без дела, что все студенты с юридического и мужиков из них только двое, да и те какие-то тюфяки очкастые, и что это просто здорово, что мы приехали. Мы прихлебывали чай и благосклонно слушали все эти приятные вещи. Потом поднялась Сидорчук и все притихли.

– Старшую нашу видели? – спросила она строго.

– Это та, что с ямочками? – робко осведомился я.

– С ямочками! – девицы дружно фыркнули и захихикали.

– Вы на месяц здесь? – перекричала их Сидорчук.

– Да.

– Значит не все переспите.

– Что? – у Славика начали округлятся глаза.

– Я говорю не все успеете с ней переспать, – Сидорчук злорадно улыбалась.

Остальные девчонки, увидев наше замешательство, хором подтвердили, что, действительно, всем не даст, не успеем. Потом они наперебой стали утешать нас, что на наш век хватит и чтоб мы не отчаивались. Мы робко и растерянно со-

глашались. Потом вдруг Наталья Сидорчук встала и сняла с себя сарафан, оставшись в синем купальнике-бикини. Оказалось, что ей жарко. Фигура у нее была отличная, я боялся на нее смотреть, а она смотрела на меня в упор, и я извивался, как червяк на крючке. Заговорили об университете, о каникулах и, наконец, о любви. Сидорчук призналась, что влюблена.

– В кого же? – спросил я, стараясь быть любезным.

– Да есть один козел, – небрежно ответила Наталья. – Зовут его Феликс. Он курсант какого-то там – хрен знает какого – училища. По-моему, артиллерийского. Пушкарь, блин! Прицел сто двадцать, наводка пятнадцать: ба-бах! Есть контакт! Мудак страшный. Но любит меня без памяти. Должен приехать сюда, кстати. Ленка, ты его помнишь? Он был на дне рождения Берсенева?

– Помню, – отозвалась Ленка. – Милый такой мальчик. Пушистенький такой, рыженький, да?

– Пушистенький, – фыркнула Наталья. – Он пушистенький в одном месте. Сказать в каком? Он жениться на мне хочет. Прямо сейчас. Я говорю ему: «Ты что, сбрендил? Что я буду делать в твоём гарнизоне? Где-нибудь в сибирском Усть-Ужопинске. Из пушек стрелять?» Представляю себе эту картину. У меня брат военный, спасибо, знаю, что это такое. «Ты, мол, не бойся, будешь следователем в военной прокуратуре», – это он говорит. Ага, всю жизнь мечтала. Правда, девоньки, мужиков в армии... всяких видимо-невидимо.

С одним не получится – можно запросто другого зацепить. Нет, Феликс парень неплохой, но зануда он. Все время спрашивает меня: «Кто у меня еще есть». Блин, я что должна ему весь список огласить? В алфавитном, так сказать, порядке. Представляю его рожу. Маменька у него: «Ах Феликс, ах он тонкая душа». Терпеть меня не может. Чувствует, старая коцера, что я дам ему еще просратся.

Я покраснел. Славик с Андреем переглянулись, девчонки захихикали. Судя по всему, уж они-то хорошо знали, на что способна Сидорчук. Алла заявила, что ее избранник должен быть джентльменом; Лена сказала, что хочет симпатичного, высокого и голубоглазого; Люда вспомнила кого-то, вздохнула и сказала: «Да уж». Сидорчук закурила и сказала равнодушно:

– Главное, говорю вам, чтоб не был занудой. Голубоглазый, синеглазый – какая на хрен разница? В темноте все равно не видно. Вот у меня, помню, был этот... из военмеда, крохотный такой, белобрысенький... Ленка ты его помнишь?

– Серега, что ли?

– Да нет, Саша. Или Коля? Да, блин, какая разница! Вот – пожалуйста: ни кожи, ни рожи, как говориться, а как, помню, он морду набил Барсеневу, когда тот его крошкой Цахесом назвал.

Девчонки загалдели. История, видно, и впрямь была громкая. Барсенов, упомянутый уже не однажды, наверное,

был яркой фигурой на юрфаке. Во всяком случае о нем вспомнили еще не раз.

– А помните, – воскликнула Афонина, – помните, как эта, старшая наша пионервожатая, Наталья, на дне рождения говорит: «Саша, я хочу от тебя ребенка»?

– Вот сука! А помните, как мы заставляли тогда каждого опоздавшего вместо штрафной рассказывать политический анекдот, а потом включили магнитофон и дали послушать, кто насколько наговорил? Помните, как Барсенев с Наташкой испугались? Барсенев кричит: «Срочно стирайте, срочно стирайте!» Аж побелел бедняга.

– Ну так еще бы. Он в КГБ собрался после факультета.

– Да что ты?

– А ты не знала? Он готовит себя по полной программе. Член комитета комсомола, командир опергруппы, спортсмен. У него амбиции – ого-го!

Наконец вспомнили про нас.

– Э-э... да они спят уже.

Андрюха действительно мирно кимарил в углу. Славка зевал. Мы гурьбой вышли на крыльцо. В сером небе кое-где сияли звездочки. Легкий ветерок донес запах близкой озерной воды. На востоке разгоралась заря. Девчонки сгрудились, о чем-то перешептываясь и поглядывая на нас. Наталья отделилась от них и громко сказала:

– Миша, мне страшно одной, проводишь, ладно? Мой отряд – во-он там, в конце. Тут еще местные аборигены бро-

дят, собаки всякие дикие.

Все посмотрели на меня участливо. Разумеется, я любезно согласился.

– Счастливого пути, – многозначительно сказала Люда.

– Не пропадайте, – сказала Алла.

– Мишель, ну ты найдешь нас, – сказали мои верные друзья.

Наталья взяла меня под руку и потащила. Светлело с каждой минутой. В лесу глухо и гулко запела кукушка. Я машинально про себя стал отсчитывать свой срок, но Сидорчук перебила меня.

– Вот завела свою шарманку. Я тут как-то спрашиваю ее: «Сколько мне жить?» А она замолчала, поганка этакая. Ну и хрен с тобой, думаю.

Трава была мокрая и прохладная от росы. Изредка с озера набегал свежий ветерок и листья на деревьях взволнованно лопотали. Хмель уже почти полностью выветрился из моей головы, я дышал с наслаждением, спать совсем не хотелось. Возле умывальника Наталья остановилась и попросила поддержать ее. Я обхватил ее за талию, она задрала ногу и поставила ее в оцинкованный, длинный желоб, над которым висели в ряд медные краны. От нее исходил чудесный вульгарный запах крепких духов, вина, табачного дыма и еще чего-то женского, теплого, волнующего – может быть это был запах ее гормонов, не знаю. Она вымыла одну ступню, потом обхватила меня за шею и закинула в умывальник другую но-

гу. На моей щеке растаяло нежное тепло ее щеки, я покачнулся, едва не упав, но она удержала меня, засмеявшись низким хриловатым голосом. У меня мелькнула дикая мысль, что сейчас она помоеет интимные части своего тела и представьте себе, она вновь отгадала мои мысли.

– Блин, все хорошо здесь, но подмыться – проблема. Вода ледяная в этих кранах. Я чуть не отморозила вчера себе... это самое. А теплая вода есть только в душе. Вам, мальчикам, легче. Да?

Я что-то промычал в ответ, краснея. Хотя я и вырос на Народной улице, но воспитан был, как вы знаете, на классической русской литературе, и к такому общению не привык.

Наконец мы добрались до большой, зеленой дачи, в которой располагался 7-й отряд. Перед парадным крыльцом была круглая песчаная площадка, но Сидорчук повела меня к обратной стороне дома, заросшей высокой травой и кустами черемухи и акации. Зачем-то ей непременно надо было заглянуть в окно своей комнаты. Окно находилось высоко. Несколько раз, схватившись за наличники, она пыталась подтянуться, но падала в траву; потом она попросила поддержать ее, и я схватил ее за талию мокрыми ладонями и стал пихать вверх и поддерживать пока платье не задралось и она упала мне на грудь прохладной попой. Кажется, ей это доставило такое удовольствие, что она даже не завизжала, а только повернула ко мне голову сверху и спросила.

– Ты как, в порядке? Держишь? Держи крепче, а то я бо-

юсь упасть в крапиву.

– Не бойся, держу, – выдавил я, упираясь в ее ягодицы ладонями и вдыхая какой-то бесстыжий запах, от которого у меня началась эрекция.

Но и этим еще все не закончилось. Спрыгнув, Наташка уронила в траву свой золотой кулон и мы минут десять искали его в высокой траве, нашли, обрадовались, и она попросила меня помочь застегнуть его на шее. Еще минут десять я грубыми пальцами возился с крохотным замочком на ее теплой, покрытой золотистыми волосками шее, а она хихикала от щекотки и прижималась ко мне спиной.

Потом я проводил ее до крыльца, но дальше, в темную комнату не пошел. Она вздохнула, еще раз оглядела мою фигуру сверху вниз и помахала рукой.

– Ну ладно, мне пора. Спокойной ночи. Завтра... ой, сегодня уже, увидимся.

Я не сразу вернулся в барак. Сначала я спустился вниз, к озеру. Оно дымилось в утреннем свете. На купальне было тихо, прохладно и пахло рыбьей чешуей. Вода сочно чмокала под деревянным, влажно-скользким настилом, сухой камыш на берегу шелестел убаюкивающе. Я облокотился на покосившиеся перила, плюнул в темную воду и стал следить, как белое пятнышко медленно дрейфует к затопленному лопуху кувшинки. Раздался всплеск, блеснул серебром рыбий бок и пятнышко пропало. И тотчас под кустом, свисающим над своим колеблющимся отражением в воде, булькнуло что-

то большое, тяжелое, отчего пошли круги, всколыхнувшие осоку. Где-то далеко крякнула утка. Ни души не было вокруг. Я подошел к почерневшей деревянной лесенке, уходящей в темно-вишневую глубину, расстегнул ширинку и пописал, с восторгом слушая, как моя горячая струя вспаривает холодную гладь воды, взбивая на поверхности пивную белую пену. Хотелось чего-то непонятного нестерпимо. Тогда я быстро скинул с себя всю одежду и прыгнул в воду. Она была обжигающе холодной, но мне это и надо было. Я выпрыгивал из воды и падал в нее с истерическим смехом, подняв целую бурю в купальне. Потом выскочил на берег, стуча зубами, и отжался от земли тридцать раз и сделал тридцать энергичных приседаний. Тело вспыхнуло жаркой истомой. Я оделся и закурил с наслаждением.

Лето только начиналось. Ковальчук была бесподобна. Где-то в теплом бараке меня ждали друзья. Силы кипели во мне, и счастья было во мне немерено. Счастье мое было столь полным, что я заплакал. Я смотрел на озеро, на посветлевший золотистый сосновый бор на другом берегу, на разгоравшееся алое пламя за бором и чувствовал какую-то несказанную благодарность в душе. Вот – живу. Хорошо. Все хорошо. Больше ничего не надо. Потому что больше и не вынесу, разорвусь на куски, изревусь слезами...

Я вернулся в наш барак уже когда солнце взошло. Андрей со Славиком не спали. Я лег в чистую прохладную постель и зажмурился.

– Ну как? – спросил после недолгого молчания Славик.

– Нормально, – ответил я.

Больше меня не спрашивали. Я уже начал засыпать, когда услышал громкий голос Андрея.

– Да, парни, это наш первый день в лагере. Запомните его.

Я улыбнулся. Я его запомнил.

Начальник лагеря приехал рано утром и тут же собрал совещание.

Это был кряжистый мужчина с крупным носом, густыми сросшимися на переносице бровями, тяжелым подбородком и волосатыми ушами под седым ежиком волос. Он не понравился нам с первого взгляда. Мы ему тоже. И тоже с первого. Да второго и не требовалось. У нас на лицах все было написано: и три часа сна и три литра пива на рыло. Звали его Эразмом Ювенальевичем – согласитесь, странное имя для советского служащего, с первого раза и не выговоришь, а Андрей еще и переспросил сдуру: «Как вы сказали? Маразм Ювенальевич?» Разумеется, директору это не понравилось. Когда он начинал злиться у него косил правый глаз и он бессознательно начинал ломать пальцами все подряд, главным образом карандаши и ручки. Сразу скажу: он их много поломал, связавшись с нами.

Может быть, он был и неплохой мужик, но уж больно изломан. Похоже, что амбиции его были куда больше скромных карьерных достижений. Думаю, он успокоился бы на

должности директора завода, а в кресле секретаря райкома и вовсе мог преобразиться в благородного человека, но вот беда, способностей не хватало. Выяснилось, что он всего-навсего завуч средней школы. Директором лагеря его назначили впервые, это был его триумф, и надо было понимать его огорчение, которое мы невольно доставили ему своим безобразным видом.

– Пить спиртное в лагере категорически запрещается, – сразу и с пафосом заявил он.

Мы невинно молчали, как будто речь шла о вещах совершенно невозможных в нашем благородном обществе. Эрэзма это рассердило.

– Повторяю для всех, – сказал он, напирая на последнее слово и обращаясь главным образом к Андре, самому мятому из нас. – Запрещается. Категорически.

– Даже пиво? – буднично спросил Славик, чтобы хоть как то разрядить обстановку.

Простой этот вопрос разозлил директора окончательно.

– А что пиво – не алкогольный напиток? – воскликнул он, машинально ища на столе карандаш или ручку. – Я же русским языком сказал: никакого спиртного! Ни пива, ни вина, ни водки. У нас дети! Вы что на курорт сюда приехали?

– А курить можно? – опять буднично спросил Славик, и кто-то за столом хихикнул.

Директор с треском разломал карандаш, вздрогнул, выбросил остатки в урну и попытался успокоиться.

– Курить можно. В своей комнате. Или в лесу. Короче, чтоб не при детях. Педагогов у нас на все отряды нет. Сами будете управляться. По два человека на отряд. За детей отвечаете головой. В прямом смысле, понятно? Что-нибудь, не дай Бог, случится – тюрьма. Ясно говорю?

Пионервожатые переглянулись и зашумели. Всего нас было человек двадцать. В основном, как нас и предупреждали, девушки. Из мужского пола, кроме нас, присутствовал молодой крепкий дядька в нейлоновой, спортивной форме, с простым курносом лицом, и толстый насупленный паренек в безобразных круглых очках, который настойчиво пытался придать своему безвольному пухлому лицу надменное выражение – мешали великоватые очки, которые то и дело съезжали у него с носа вместе с надменной гримасой, и оттопыренные уши, про которые он несомненно помнил всегда, потому что беспрестанно и бессознательно приглаживал их ладонями. Спортсмена – лагерного физрука— звали Володей, но мы сразу нарекли его Жеребцом. Уж не знаю, почему мы его презирали. Был он весел, приветлив, прост и доверчив. С нами в первый же день попытался подружиться и никак не мог понять, почему мы все время переглядываемся в его присутствии, усмехаемся и обмениваемся с серьезным видом бессмысленными фразами, вроде: «Дегро – это последняя стадия приятца, за которой начинается небытие». Бедняга догадывался, что ему не хватает интеллектуальной мощи, чтобы стать с нами на равных, и ударился было в чу-

довищенный высокопарный вздор, который сам он идентифицировал, как мучительные философские искания, но понял по нашим испуганным лицам, что сваял дурака, и перестал мучаться и нас мучать. Ему хватило смирения и простодушной мудрости, чтобы принять как должное наше духовное неравенство, больше он не заводил разговоров про Толстого, зато он неплохо играл в футбол и волейбол и, главное, не обижался и не злился на нас даже тогда, когда мы были достойны хорошей трепки.

Очкастого описывать трудно и незачем: его надменность никто не замечал и даже имени его никто не помнил. Говорили про него так: «Этот му...ак в очках». С него было и этого довольно.

В первый день нас разделили по отрядам. Собственные пожелания не учитывались, да у меня, признаться, их и не было: мне достался восьмой отряд, Славке – пятый, а Андрюхе – четвертый. Славке в напарницы досталась стройная миловидная девушка Наташа с исторического факультета, а Андре – горбоносая поджарая Света с юрфака. Мне же в напарницы дали волоокую чернобровую черноволосую Нину Социалидзе. Фамилия меня сразила наповал. Когда ее огласили, Андрюха засмеялся самым безжалостным и бестактным образом. Директор рассердился.

– Что смешного, Бычков?

Андрюха опустил голову, но плечи его вздрагивали. Директор запунцовел.

– Предупреждаю, вы несете ответственность за детей головой. Смех здесь неуместен. Головой!

Сдались ему наши головы. Социалидзе ждала меня у крыльца после собрания. Она улыбалась.

– Пойдемте, я покажу вам отряд.

Я забрал свой чемодан и мы потащились в самый конец лагеря, где находился наш восьмой отряд. По дороге нас нагнала Сидорчук.

– Блин, это все старшая напортачила. Она распределяла, кто куда. Я просила ее, чтоб меня поставили вместе со Светкой, а дали какую-то Ларису. Я ее в глаза не видела.

Моя Нина сжалась и косилась на Сидорчук с испугом. Вот уж, действительно, редкое сочетание столь ярких противоположностей. Сидорчук была словно создана для борьбы. Ее выточенное из бронзы решительным резцом лицо словно просилось на плакат: «А ты, мущина, разве не хочешь меня?!» Ее властный металлический голос, которым она вела душеспасительную беседу с детьми, можно было услышать на противоположном конце лагеря; она не смотрела на человека – она взвешивала его на глаз, и определив вес, задавала тон будущих отношений с агрессивным упрямством. Она просто не знала преград, если хотела чего-нибудь. Папа у нее работал следователем областной прокуратуры и про его жестокосердность говорили вполголоса.

Социалидзе ругаться не умела вовсе. Ее папа был деканом физического факультета ЛГУ, мама доцентом филоло-

гического. Была в ней врожденная восточная утонченность, дополненная русским интеллигентским воспитанием до такого совершенства, что я чувствовал себя с ней неловким медведем даже в молчаливом присутствии. Голос она имела тихий и мелодичный, пальцы длинные и даже на вид бесконечно ласковые и нежные, движения – изящные, словно поставленные хорошим мастером-хореографом. Меня иногда посещала дерзкая мысль: знает ли она хоть одно матерное слово и что будет, если я ущипну ее за попу. Но сколько бы я не воспалял свое воображение, выйти за рамки приличного мне так и не удавалось. Всякая похабщина конфузливо скукоживалась под взглядом ее беззащитных ласковых глаз.

Как мы с ней собирались рулить отрядом полупионеров-полуоктябрят, не представляю.

Наталья довела нас до крыльца и на прощание подмигнула мне.

– Ну бывайте. Пара у вас, блин, что надо. Зайду обязательно в гости.

Комнатка моя мне понравилась. Был стол, кровать, шкаф. Над кроватью висела репродукция с изображением Гайдара в папаше и гимнастерке. Пахло застаревшим табачным дымом и дешевыми духами. Я достал из чемодана и водрузил на стол свою гордость – столетний томик Герберта Спенсера «Основные начала» и несколько чистых общих тетрадей, которые по замыслу должны были стать исписанными к концу моего лагерного срока. Разумеется, гениальными строч-

ками. Коричневый томик очень удачно мозолил глаза на белом пластиковом покрытии стола, ветхий его вид внушал уважение. Тетради же свидетельствовали, что хозяин чужд легкомысленной праздности. Словом, как доктор прописал.

Потом я зашел в комнату, которая находилась за перегородкой, к Нине. У нее на столе я обнаружил книги Макаренко и Сухомлинского. Над кроватью висела фотография Дзержинского.

– Это мне подарил дядя, – сказала она, поймав мой взгляд.

– У тебя дядя чекист?

– Нет. Он доктор. Кардиолог.

– Хороший доктор? – зачем-то строго спросил я.

– Да. Профессор. Работает в Военно-Медицинской Академии.

Я плюхнулся рядом с ней на кровать, и она тут же встала и пересела на стул. Я почувствовал себя мачо.

– Ты куришь? – спросил я.

– Нет

– Пьешь?

– Что?

– Ну, вино, водку, пьешь?

– Водку не пью, – нерешительно сказала она и поправила – никогда не пробовала.

– Попробуешь, – сказал я небрежно – У меня есть с собой бутылка. «Старка».

Нина сидела, как отличница, положив ладони на колени.

Она подняла на меня изумленные глаза.

– Я не умею.

– Научишься. Какие проблемы.

Внезапно с треском распахнулось окно и я увидел ухмыляющееся лицо Натальи.

– Ах, вот они где! Сидят, воркуют! Слыхали новость? Через два часа заезд!

Дети приехали к обеду. Я сидел с Андрюхой и Славиком под деревянным грибом, когда в ворота въехал первый львовский автобус. Через несколько минут сельскую тишину разметал ставший на много дней привычным детский гвалт.

– Матка Боска, – пробормотал Андрей, поежившись.

Начались наши трудовые будни.

– Ты хорошо рассказываешь, хорошо, – сказал Андрей, намазывая острым кетчупом корку хлеба. – Только Людку я почти не помню. А Ковальчук мне тоже строила амуры, между прочим.

– Если угодно, сам можешь продолжить мой рассказ, – сказал я и Андре замолчал.

А я продолжал.

Рабочий день пионервожатого начинался в семь тридцать утра. В восемь я заходил в палаты и кричал: «Подъем!» В восемь тридцать проводил урок физкультуры для детей, стараясь изображать жизнерадостную потребность в наклонах

и приседаниях, а потом плелся в штаб на утреннюю летучку. Директор поутру всегда был мрачен, как с похмелья, и начинал с мелких неприятностей, которыми полна была наша лагерная жизнь, заканчивал же – крупными. Мы слушали его хмуро. Первые два дня были сущим адом.

В моем отряде было больше октябрат, чем пионеров. Средний возраст— лет восемь. Некоторым девочкам было по десяти лет, но были и совсем малолетки – братик и сестренка пяти и шести лет, дети нашей лагерной поварихи. Сначала я решил, что мне повезло: меньше возраст – меньше проблем. Однако я ошибался. Возраст оказался поганый. Больше всего меня измучили девчонки. Их было пятнадцать штук, и каждая в отдельности могла довести до инфаркта кого угодно. В первый же день они перессорились друг с другом и ко мне выстроилась нескончаемая очередь хнычущих ябед: все они требовали расправы с обидчиками, а заодно сообщали мне всевозможные гадости друг про друга, вплоть до того – кто, кому и когда написал в тапок. Я отыскивал злополучный тапок и размахивал им в палате, как Ленин знаменитой кепкой, меня слушали с благоговением, а потом тапок находили у кого-нибудь под подушкой и все начиналось сначала. Особенно меня достала рыжая бестия по имени Оля. Она влюбилась в меня, как способны влюбляться дети, и с криком: «Михайло Потапыч пришел!» — бросалась на загривок из засады. Это был сигнал, после которого остальные дети с дружным воем бросались на меня, как

свора щенков на раненного медведя, и начиналась шумная возня, в которой я боялся кого-нибудь ушибить или покалечить. Меня рвали и терзали совсем не понарошку, и спина моя была покрыта всамделишными царапинами и синяками. От Нины мало было проку. Она лишь беспомощно улыбалась и прижимала руки к груди.

– Дети, дети! Оставьте в покое Михаила Владимировича! Дети!

В тихий час у нас никто не спал, вечерний отбой превращался в изнурительный кошмар. Я ходил по палатам и грозился, а следом за мной на цыпочках ходили маленькие дерзкие хулиганки и строили всем рожи из дверей. Нина усиленно штудировала Макаренко и Сухомлинского. Она говорила мне, зайдя в комнату и не присаживаясь, несмотря ни на какие уговоры:

– Понимаете, Миша, вы для них – друг. А надо быть вожаком. Они не чувствуют в нас авторитета. Мы не смогли правильно акцентировать свою роль.

– Я эту рыжую скоро просто высеку, – уныло говорил я, почесывая укушенное плечо. – Она совсем сбрендила. Бросается на меня, как бульдог.

– У нее в семье нет отца, – говорила задумчиво Социалдзе. – Или есть, но очень слабый. Понимаете? Ей хочется мужской власти. Ей хочется компенсации.

– Слушай, – говорил я уныло. – Давай все-таки на ты. Ей-ей, я чувствую себя неловко. К тому же, мы на войне. Будь

проще.

На третий день в тихий час к нам заглянула Ковальчук. Шабаш как раз был в самом разгаре. Я держал одной рукой ревушего во весь голос Петьку, которого злющая Зинка облила собственной мочой из майонезной банки, а вторую руку мне безуспешно пыталась открутить рыжая Ольга. У нее не получалось и она приплясывала от нетерпения и временами пыталась укусить меня за локоть. Орала все вокруг и носились, как взбесившиеся язычники во время кровавого жертвоприношения. Я тоже орал – беспомощно и жалко. Бледная Нина стояла в дверях своей комнаты с книгой Сухомлинского, как пастырь со спасительной Библией в руках. И вдруг все присели от страха.

– А ну молчать!!! Молча-а-а-ать!!! – оглушительный, яростный голос покрыл всех.

Наталья стояла посреди холла, гневная и прекрасная как Афина Паллада во время битвы. Глаза ее сверкали, в руках ее извивался устрашающий кожаный ремень.

– Что это за бардак?! Почему не спите?! А ну марш всем по палатам! Мигом! Пулей, я сказала! Раз! Два...

Все бросились, стуча босыми пятками по кроватям.

– А тебе что, особое приглашение надо?!

В моих руках беззвучно трепыхался испуганный Петька, которого я все еще бессознательно удерживал. Я разжал ладонь и он, всхлипнув, метнулся в палату. На полу остались только чьи-то трусы, футболка и гребешок. Наталья поддела

трусики кончиком туфли.

– Вы что, здесь бардак устроили?

Мы с Ниной молчали и смотрели на благотельницу с умилением.

– Что вы им позволяете? Они у вас сума сошли. Мои уже давно дрыхнут.

В это время в одной из палат послышался сдавленный смех.

Наталья, как гончая, замерла, прислушиваясь, потом быстро зашагала в палату.

– А ну-ка кому там не спиться?! – загремел ее металлический голос. – Кому там хочется на улицу, а? Кому хочется крапивы по голой попе, а? Сейчас устрою! А ну живо все на правый бок, ладони под голову, быстро! Я кому сказала, на правый бок! Ты что, не знаешь, где у тебя левый, где правый? Я тебя живо научу, так научу, что на всю жизнь запомнишь!

Нина дрожала. Мы вышли на крыльцо, и я облегченно вытер пот со лба. За нами вышла довольная Наталья и фыркнула, увидев наши растерянные физиономии.

– Эх вы, педагоги. Как они вас еще не сожрали, никак не пойму. Слушай, Никуль, я сегодня заберу у тебя Мишу в аренду, ладушки? У Гордейчик будет вечеринка, собираются все свои. Устроим небольшой бальдерьеро... А то от скуки сдохнешь. Во сколько вы укладываете своих гопников?

– Так ведь когда как, – пролепетали мы.

– Понятно. Сегодня я помогу.

Она подмигнула мне и ушла, бесстыже виляя бедрами, а мы с Ниной только ошеломленно смотрели ей вслед. Дом пугал своей непривычной тишиной. Я осторожно заглянул в первую палату и услышал лишь тихое сопение десяти носов. Во второй – то же самое. В третьей я услышал осторожный шепот.

– Михаил Владимирович, Михаил Владимирович...

Шептал Петя. Я подошел к нему, нагнулся.

– Что тебе?

– Михаил Владимирович, можно перевернуться на другой бок?..

Наталья пришла, как и обещала, вскоре после ужина, часов в девять. На ней было короткое платье-сафари, она энергично жевала резинку.

– Так ведь рано еще, – удивилась Нина.

– Это они дома будут ложиться когда захотят, а здесь – когда положено, – жестко возразила Наталья.

Слух о том, что «та самая тетя пришла» быстро облетел наш отряд. Через пять минут все были в постелях. Мы с Ниной боялись войти вовнутрь и сидели на крыльце, испуганно прислушиваясь.

– А мне неинтересно, что ты не успел сходить в туалет! – гремел голос Сидорчук откуда-то с левого крыла. – Раньше надо было думать! Не знаю, как быть, это твои проблемы... Хоть в постель! Все на правый бок – мигом! Считаю до трех:

раз, два... три!

– Боже мой, – бормотала Нина, – так же нельзя. Это неправильно.

«Правильно», – с наслаждением думал я, представляя себе испуганную мордашку своей рыжей мучительницы Оли.

Скрипнула дверь, мы встали. Наталья закурила сигарету, сказала деловито, как доктор после операции.

– Через полчаса будут спать, как суслики. Вы их пока не трожьте. Пусть успокоятся. Пойду своих проверю, они у меня еще полчаса назад легли. Нинуль, не забыла? Я забираю твоего на ночь, угу?

Нина почему-то покраснела и ничего не ответила. Я тоже покраснел. Мы были как два голубка. Наталье понравилось.

Часа полтора я провалялся в кровати с раскрытой книжкой Спенсера на лице, наслаждаясь тишиной и покоем, в одиннадцать переоделся, засунул бутылку «Старки» под ремень, поппикался «Шипром» и заглянул в соседнюю комнату. Нина сидела в сумерках у окна в академической позе. Почему-то она напомнила мне пушкинскую Татьяну Ларину с какой-то известной картины. Она оглянулась.

– Ах, это вы.

Я целомудренно присел на краешек кровати. Хотелось сказать что-нибудь утешающее, развеять ее грусть.

– Не скучай. Мы там посидим, выпьем, – сказал я. – В картишки сыграем. А то со скуки сдохнуть можно.

Нина вздохнула, положила ладони на стол. Бутылка боль-

но упиралась мне в живот, я вытащил ее из-под ремня и поставил на пол.

– Это водка? – спросила Нина со страхом и любопытством разглядывая бутылку.

– «Старка», – небрежно объяснил я. – Крепче водки на пять градусов.

– Чем вы надушились? – вдруг спросила она.

Я пожал плечами.

– «Шипром». А что, не нравится?

Она нагнулась, вытащила из-под кровати кожаную сумку и, порывшись, достала какую-то лиловую пузатенькую склянку.

– Хотите попробовать?

– Что это?

– Бойтесь? – кокетливо спросила она и открыла пузырек.

Необычный волнующий аромат как будто с привкусом муравьиной кислоты наполнил комнату.

– Хочу, – сказал я и закрыл глаза.

Я почувствовал на шее нежное прикосновение кончиков ее пальцев и чуть не застонал от наслаждения.

– Достаточно, – сказала она и я открыл глаза. Нина улыбалась.

– Теперь вы неотразимы.

Она вышла вместе со мной на крыльцо. Солнце уже скрылось за деревьями, из леса тянуло ароматной прохладой. Я ухарски запихал бутылку под ремень, похлопал напарницу

по плечу и пошутил в том роде, что пошел выбирать себе невесту.

– Тогда берегитесь, – сказала она.

– Это почему же?

– Потому, – тихо и серьезно сказала Нина. – Потому что Наташа похоже уже выбрала вас.

Я пришел к Гордейчик последним. В крохотной комнатке разместились вся компания: Андрюха со Славиком сидели рядом, обнявшись. С обеих сторон их подпирали Гордейчик и Люда. Я поставил на стол бутылку, заслужив аплодисменты. Сидорчук и Афонина раздвинулись на кровати и я упал в освободившееся пространство. Теплые бедра сомкнулись с обеих сторон и я почувствовал, как они ревниво ищут моего сочувствия. Натальино бедро было горячеей.

Вы, наверное, помните эту прелестную вечеринку. На столе горела свеча. Окно было приоткрыто и занавешено белой кисеей, а за ней серым, мутным пятном дрожала северная ночь и остервенело зудели голодные комары. Сначала мы шептались, смеялись тихо – в ладони, но выпив водки, потеряли всякую осторожность. Возбужденно заговорили о детях. Оказалось, что у всех – уроды. У Славика в отряде белобрысый акселерат Степан ночью залез через окно в палату для девочек и снял трусы. Девочки завизжали. Прибежала пионервожатая Наташа и тоже завизжала. Степан исчез в окне, как страшный призрак. Славик утром пытался поговорить с ним, но Степан сказал, что не помнит ничего, сказал,

что все это было во сне. Славик поверил, и зря: Степа в тот же вечер повторил свой фокус при полном аншлаге. Выяснилось, что у него какой-то нехороший диагноз, что нервировать его вообще то небезопасно. Директор струхнул, стал с кем-то созваниваться в Ленинграде, велел потерпеть два три дня, и Славка пока терпел, но признался, что побаивается оставаться со Степой наедине. У Андриюхи в отряде все в первый же день перевлюблялись, начались драмы. Какой-то голубоглазый Мишка влюбился в Зинку, у которой уже была взрослая грудь и бесстыжие глаза, а она любила Вовку, у которого усы уже пробивались под носом, и Вовка побил Мишку, но не за то, что тот любил Зинку, а просто так, чтоб тому жизнь медом не казалась, а Зинка решила, что драка была из-за нее, что она стала героиней романа, и убежала, дуреха, в лес после обеда. Ее искали, все переволновались... Зинке завидовали девчонки, а Вовка, подлец, взял и влюбился в чернобровую Машу.

Я тоже стал жаловаться на своих, но меня перебила Сидорчук.

– Блин, я тут захожу сегодня в их отряд, смотрю: мама миа, бардак – полный, пионеры уже друг дружке морды бьют, а эти двое стоят, рефлексируют: кто виноват, что делать?

– У меня метод очень простой, – продолжала она. – Крапива! За туалетом ее полно. Провинился – дуй за крапивой. И приносит, как миленький. А я этим букетом ему по голой жопе: р-раз, р-раз, р-раз!! Пока не покраснеет, как у макаки.

И сразу – полное взаимопонимание! Никаких проблем. Дисциплина, как в армии.

Мы посмеялись невесело и выпили еще по сто граммов. Заговорили про директора лагеря. Сошлись на том, что он полный, абсолютный и законченный мудака. Выпили за то, что бы его понос пробрал. Потом Сидорчук, прожевывая огурец сказала.

– А все-таки эта ... Коммунидзе...

– Социалидзе, – поправил кто-то.

– Ну да, помню, что-то марксистское... Она с прибабахом явно. Не от мира сего.

– Что же ты хочешь, – сказала Афолина. – У нее вся семья такая. Мне Козакевич, ее приятельница рассказывала, как они живут. Каждый день подъем в шесть утра. Пробужка. Бегут все: папа, мама, Нина, даже бабушка. В любую погоду. Потом – школа, музыкальная школа, чтение полезных книг, чтение развлекательных книг; чтение французских книг: она по-французски лучше преподавательницы говорит, представляете? Все расписано по минутам. У них даже семейные праздники какие-то необычные, вроде викторин. Предположим, собираются они субботним вечером, приглашают гостей, и вся вечеринка посвящается древней Греции. Каждый должен подготовить доклад по своей теме, а потом все отвечают на вопросы. Все строго, как на экзамене; оценки выставляет Социалидзе-старший по пятибалльной системе. Козакевич рассказывала, что пришла как-то не

подготовившись, так чуть от стыда не сторе́ла.

– Каждый сходит с ума по-своему...

– И между прочим, собираются далеко не последние в городе люди. Гранин-писатель, вроде бы, Товстоногов, академики, профессора. Да, собственно, ее папа сам без пяти минут академик.

– И поэтому она такая прибабахнутая? – спросила Сидорчук.

– У нее была несчастная любовь, – важно сказала Лена, которая, как я смог заметить, знала о всех больше всех. – Мне говорила Галя, секретарша из деканата. Был какой-то бурный роман, был какой-то парень с армянской фамилией, вроде бы он учился на нашем факультете. Чуть ли не до самоубийства дело дошло.

Кто-то присвистнул.

– Ни хрена себе. В тихом омуте черти водятся...

– Восточная кровь, что вы хотите.

Стали вспоминать разные истории про любовь. Афонина вспомнила про какого-то хроменького худенького Сашу, который встречал ее после школы у парадной целый год. У Сашки были печальные большие глаза и чахоточный румянец на щеках, Ленка жалела его, но влюбиться не могла, ей было стыдно влюбляться в калеку, а потом он пропал и до сих пор она не знает, что с ним. Девчонки грустно завздыхали и притихли, но тут Сидорчук тоже вспомнила из детства какого-то Мишу с грустными глазами, который тоже пресле-

довал ее своим вниманием целый год, а потом как-то после школы показал ей в кустах свою волосатую писю и она испугалась до смерти и пожаловалась учителям. Мишку вздрючили на педсовете и он больше не безобразничал. После Натاشкиного честного рассказа у всех пропало всякое желание сентиментальничать, мы вспомнили про водку и выпили еще по сто граммов «Столичной». Откуда-то появились карты. Родилась идея играть на раздевание. Все возбуждились и захихикали. Каждый незаметно проверил, что на нем надето. Умная Гордейчик накинула на себя легкую кофту. Наталья, напротив, сняла с себя часы.

Первую партию проиграла Люда. Несмотря на протесты, она сняла с себя бусы. Вторую партию проиграла опять Люда: на этот раз она скинула с себя тапки. Третий раз она проиграла в зловещем молчании и стащила через голову ситцевое платье, оставшись в купальнике-бикини. На ключицах у нее было множество родимых пятен. Гордейчик предложила играть в сумерках и затушила свечу. Сидорчук внезапно сказала, что ей жарко и тоже сняла платье. Никто не стал спорить. Я раздал карты, засветил козыря. Люда, заглянув в свои карты, захныкала. Она опять проиграла. Мы все посмотрели на ее грудь, и она закрыла ее крест-накрест руками.

– Сиськи на стол! – скомандовала Наталья.

В этот момент окно распахнулось и в комнату, вместе с потоком свежего воздуха просунулась большая, пахнувшая одеколоном голова директора лагеря. Голова повертелась во

все стороны и сказала неприятным голосом.

– А что это вы тут делаете?

Ни у кого не было никакого желания отвечать на этот вопрос, и мы ломанулись в двери. Наталья подхватила меня под руку и увлекла за собой, одеваясь на ходу. Довольно долго мы петляли с ней по каким-то кустам, по высокой сырой траве, пока не вышли, взявшись за руки, к ее отряду. Одно окно в бараке горело. Наталья выругалась.

– Лариска не спит. Опять читает. Знаешь, что она читает? Учебник по педагогике! Вот дура. И за мной следит, сука. Твоя следит за тобой?

Мы посмотрели друг на друга и приснули, присев на корточки. Где-то на другом конце лагеря слышны были торопливые женские голоса, которые нетерпеливо перебивал мужской, сердитый баритон.

– Директор, – тихо сказала Наталья, сжимая мою ладонь горячей сухой ладошкой. – Вот козел, свалился на нашу голову. Гордейчик теперь будет хуже всех. Может и телегу написать на факультет. Хотя папа ей поможет, если что... Папа у нее крутой, в горькоме работает... И что ему не спится, мудаку? Сейчас пойдет по отрядам проверять, все ли в койках. Как он меня достал. У тебя сигареты есть?

Мы перебрались на скамейку и закурили, чутко прислушиваясь. Было часа два ночи. Комары постепенно собирались вокруг нас в огромную алчную стаю. Наталья пыхала на них дымом, потом прижалась ко мне, уткнувши нос в шею.

– Спаси меня, а то сожрут заживо.

Я обхватил ее плечо рукой, но вдруг она стремительно выпрямилась и вытаращилась на меня так, что я испугался.

– Блин! А чем это от тебя пахнет?!

– То есть?

Она схватила меня за грудки и прильнула лицом к шее, шумно принюхиваясь.

– Духи... Французские... Дорогие... Не твои... – отрывисто говорила она, через каждое слово делая глубокий вдох-выдох, потом с отвращением оттолкнула меня и скрестила руки.

– Ну?

– Что?

– Чьи духи? Этой что ли... Коммунидзе? Вы что с ней, трахались?

Я закашлялся.

– Обалдела? Она... помазала меня. Просто помазала. Просто так.

– Ну, Нина-а-а... – протянула Наталья с изумлением. – Ну, тихоня-я-я... Правду говорят, в тихом омуте... а я-то думаю, чего это она на меня так смотрит.

– Как?

– Не важно. Помазанник хренов. То-то я смотрю, у вас не отряд, а бардак какой-то... А они там... а у них, блин, там... Ну, ладно, это мы завтра обсудим.

Я так и не понял, что будет завтра – внезапно совсем близ-

ко раздался шум и мы вскочили. Наталья потащила меня за собой, у крыльца прильнула грудью, зашептала.

– Только не вздумай... Завтра я поговорю с ним, потерпи немножко, будь умницей, да?

Она чмокнула меня в щеку и крылась за дверью, а я побежал, пригибаясь, к своему бараку. На веранде я больно стукнулся об стул, который загрохотал как гром небесный, выругался и на одной ноге запрыгал в холл. В темноте я увидел смутную фигуру в белом – это была Нина. На ней была ночная рубашка.

– Миша, вы? Что случилось?

Я увлек ее за собой в свою комнату, прижал палец к губам.

– Тихо... Директор. Близо. Проверяет.

Нина смотрела на меня, открыв рот. Одной рукой она сжимала на горле кружевной воротник сорочки, другую я держал крепко. За окном раздались шаги, приглушенно что-то пробубнил директор, ему виновато отвечала старшая пионервожатая. Потом голоса удалились и я сел на кровать.

– Ну, полный... абзац. Посидели, называется, выпили...

Я рассказал Нине все. Она ахнула всего один раз, когда я рассказал, как директор просунул свою глупую башку в окно.

– Так и хотелось трахнуть ему по макушке бутылкой!

– Что же теперь будет? – спросила Нина, присаживаясь на стул.

Я упал спиной на подушку и развратно раскинул ноги.

– А хрен его знает. Гордейчик будет отвечать за всех. Ты-то как? Почему не спишь? У тебя выпить есть?

Нина испуганно помотала головой.

– Жаль. Слушай, а правда, что у тебя папа без пяти минут академик?

– Он член-корреспондент, профессор.

– Ух, ты! А правду говорят, что ты хорошо играешь на рояле?

– Посредственно, – улыбнулась Нина. – Хорошо играют немногие.

– А «Лунную сонату» можешь сыграть?

– Давно не играла, но думаю, смогу.

– Здорово. А я на гитаре умею. На блатных аккордах. «Колокола» – слыхала?

Нина помотала головой.

– «Песнь про американского летчика». Тоже не слыхала?

– Кажется... что-то, – неуверенно пробормотала Нина. – Я мало знаю современную эстраду...

– Это не эстрада, – возмутился я. – Это дворовая лирика. Знаешь как круто? «Я по проклятой земле иду, гермошлем захлопнув на ходу», – напел я негромко. – Не слыхала? Нет? Жаль. А я петь еще люблю. У меня хороший голос, правда. Я спою тебе как-нибудь, ладно?

– Ладно, – обрадовалась Нина. – Я с удовольствием послушаю вас.

– Ну вот что, – грубо прервал я. – Все. Хватит. Никаких

«вы». Скажи мне: «Ты славный парень, Майк»...

– Ты... славный парень, Миша.

– Ты мне нравишься.

– Ты... мне нравишься, – произнесла, склонившись, Нина и, видимо, зарделась, но в темноте все равно не было видно.

– А что? – спросил я безжалостно – Правда нравлюсь?

– Правда, – сказала она и подняла голову. Взгляд ее был прям и прост. Теперь зарделся я.

– Ну ладно. Ты мне тоже нравишься. Ты красивая. Только робкая очень. Ты кем будешь, когда закончишь факультет?

– Я еще не решила. Иногда мне кажется, что я хочу стать следователем. прокуратуры. А вы... а ты?

– Я буду писателем, – сказал я небрежно. – Хорошим писателем. Лауреатом Нобелевской премии.

– Вы пишете? – благоговейно ахнула Нина, закрыв рот ладошкой.

– Пока нет... Так, для себя... А ты правда бегаешь по утрам?.. Ну ладно, это я так... А ты правда отлично говоришь по-французски?

– У меня был хороший учитель.

– Скажи что-нибудь! Пожалуйста.

– Мусье, желемон шпа си жю! – простонала она и мы засмеялись как ненормальные; я даже с кровати упал к ее ногам и она помогла мне подняться. Славная это была минута. Я посмотрел ей в глаза и понял, что теперь мы точно будем на ты. Спать совсем не хотелось. За окном уже светлело. Я

достал из чемодана кулек слипшихся конфет, Нина принесла из своей комнаты кипяtilьник и через десять минут мы пили индийский чай с «подушечками» и с печеньем, и болтали, болтали без умолку обо всем на свете, пока Нина не глянула на часы и всплеснула руками:

– Боже мой, через два часа подъем, а мы еще ни минутки не спали!

Мы быстро убрали стол и Нина ушла к себе в комнату, а я открыл Герберта Спенсера на середине и долго-долго вымучивал одну-единственную страницу, ничегошеньки не понимая в его строгих силлогизмах, но тем не менее испытывая нежную снисходительную любовь к этому старому, английскому ворчуну, который думал всю жизнь, но так и не понял главного: что хорошая выпивка, красивые женщины и молодость перевесят все книги на свете.

Я прилег около семи. На двери уже лежал солнечный квадрат, где-то прогрохотал автобус, сороки устроили в кустах шумную потасовку... Я закрыл глаза и вспомнил Наталью, вспомнил хнычущую Люду, испуганную Нину в ночной рубашке и подумал: как хорошо, сколько вокруг хороших девушек и женщин и все они готовы в меня влюбиться. И от этого мне стало так легко, тепло и приятно, как будто нежные женские руки подхватили меня, как будто красивые женские лица склонились надо мной, как будто их душистые густые волосы укрыли меня... Я улыбнулся им благодарно и упал в глубокий, но, увы, короткий сон.

– Я помню тот вечер, – сказал Славик. – Между прочим, когда мы все разбежались, директор вылил недопитую бутылку водки прямо Ажойчик в сумку с одеждой. У нее в комнате еще неделю стоял сивушный запах. Алка хотела даже на него жаловаться. А Ленка Агафонова ночью пришла ко мне вместе с Людкой, и мы до утра рассказывали друг другу анекдоты.

– А я читал стихи на веранде, – сказал Андрей, – а потом пришла Ажойчик и принесла бутылку вина, но я не стал пить. Она удивилась и ушла.

У ребят просветлели лица. Мы завздохали. Между тем наступил уже полдень. Солнце довольно сильно припекало, и мы скинули с себя куртки. Славка принес сухого валежника и бросил его на угли. Бледный огонь без дыма вспыхнул через минуту. Усевшись поудобнее, я продолжал с энтузиазмом.

– Утром на летучку директор пришел в каком-то пафосном настроении. Он не стал орать сразу. Он был бледен и задумчив. Тихо спрашивал, тихо отвечал и все что-то чиркал в своем блокноте. Казалось, он не спал всю ночь и вынес из вчерашнего происшествия какое-то новое, трагическое понимание жизни.

– Итак, – начал он скорбно, – вчера в лагере произошло ЧП.

Мы потупили головы. О ЧП знали все. Директор поднял-

ся, вышел из-за стола, скрестил руки за спиной, нахмурился. Он заговорил негромко, устало о высокой ответственности педагога в советской стране и я почти уверовал в мирное решение дела. Однако вскоре Эразм начал распалять себя обидными и совершенно ненужными воспоминаниями о вчерашнем деле, и голос его окреп, взор воспламенился. Он стал похож на фюрера из какой-то документальной ленты, который самовнушительно доводил себя до истерики. Скоро он перешел на крик. Минут пять он изрыгал угрозы на наши грешные головы, которые склонялись все ниже и ниже и, наконец, замолчал, сорвав голос. Головы поднялись и завертелись. Заскрипели стулья, зашелестели блокноты. Никто особенно и не испугался: слишком много вчера было виновных, слишком мало в лагере было пионервожатых, чтобы можно было всерьез опасаться массовых репрессий. Эразм это понимал, конечно, и страдал от бессилия.

Вернувшись в отряд, я бесстыдно залег спать, а днем, в тихий час, за мной прибежал запыхавшийся дежурный пионер и сообщил, что меня вызывают к директору. Директор сообщил, что меня переводят в 7-й отряд, к Сидорчук, вместо «лягушонка», которую назначили на мое место.

Сначала я зашел к Сидорчук. Она лежа курила в своей комнате и сразу подвинулась, освобождая мне местечко. Я сел на стул.

– Твоя работа?

– Я же тебе обещала, – сказала Наталья, задирая голую

ногу к потолку. – Беру тебя на буксир. Будем вместе рулить. Не переживай: Социалидзе с Лариской сработаются. Одна – долбанутая, другая – тоже... с приветом. Ты уже собрал чемодан?

Славку и Андрея я нашел под деревянным грибом. Оба были с книжками. Андрей лениво листал томик Леонида Андреева, Славка обмахивал красное лицо Платоном. Я невольно подумал, что для полноты картины не хватает моего Герберта Спенсера. Лица их были скорбны. Славка вяло сказал, что его Степана все-таки увезли в город, пока он кого-нибудь не изнасиловал. Андрей перелистнул страницу и сказал негромко.

– Лучше бы изнасиловал. Директора лагеря.

Я сообщил им свою новость, и они открыли рты.

– Вот это да, – наконец вымолвил Славик. – Ну, Наталья. Ну, стерва. Теперь она тебя изнасилует по полной программе, старик. Жди.

Видимо Степа серьезно изнасиловал Славкино мироощущение. Больше комментариев не было.

Нина узнала новость от Ларисы. Она встретила меня на крыльце.

– Вот, – сказал я, разводя руками. – Такие пироги.

Мы встретились глазами, и у меня дрогнуло сердце: Нина была расстроена и даже не скрывала этого. Она помогла мне собрать чемодан, мы присели на дорожку.

– Ты это... будь с ними построже, – сказал я, нахмутив-

шись. – не позволяй садиться на шею. Особенно этой рыжей. Бестии.

Нина подняла лицо. Щеки ее пылали.

– Хорошо, – едва слышно сказала она.

– Буду заходить тебе в гости.

– Заходи, – сказала она. – Если сможешь.

В своей новой комнате я первым делом оторвал от стены какого-то мерзкого пионера с горном в руке и положил на стол черный томик Герберта Спенсера. Потом плюхнулся ничком на кровать, пахнувшую крепким хвойным экстрактом и закрыл глаза. Я почти не удивился, когда открылась дверь и раздался торжествующий голос Сидорчук.

– Ага, вот он где! А я-то ищу его везде, как дура.

Я вскочил, она толкнула меня обратно на кровать и села рядом.

– Ну, как тебе апартаменты?

– Тесноваты, – промямлил я, поджимая ноги.

– Ничего, в тесноте, да не в обиде. Кровати только очень скрипучие, – она подпрыгнула несколько раз и кровать, действительно, резко и жалостливо заскрипела. Я тоже подпрыгнул и сказал.

– Да, уж, скрипит...

– Всех пионеров разбудим на хрен.

– Мы будем тихо, – машинально сказал я.

– В смысле? – ее черные глаза смотрели на меня в упор с насмешливым любопытством.

Я закрипел пружинами и хохотнул.

– В смысле: я сплю тихо.

– Спать ты будешь дома, – сказала она хладнокровно. – А здесь будешь работать. Как папа Карла. Понял?

Я покраснел и сказал:

– Хорошо. Я постараюсь.

Так, господа, началась новая глава моей жизни в лагере «Сосново».

Я замолчал, потянулся к термосу. Андрей со Славиком шумно заспорили о том, смог бы Степа изнасиловать директора лагеря. Я не мешал им, попивая чаек с сушками и рассматривая с каким-то отрешенным вниманием залитый березовым соком изрубленный ножом ствол березы, по которому торопливо бегали муравьи. С поля прилетел с толстым гудением шмель, попытался присесть на мою чашку, я дунул на него и он взмыл в синее небо. Снега в лесу почти не осталось. Между высокими кочками, поросшими тонкими кустиками черники, маслянисто чернела вода. Она издавала резкий, неприятно-рыбный запах.

В конце концов друзья вспомнили обо мне.

– Дальше, дальше! – потребовал Андрей.

– Дальше началось самое интересное. Отряд у Натальи был вышколен не хуже образцового армейского подразделения. В столовую дети ходили только строем и только с пес-

нями. Отбой начинался в 20.30 вечера, и в 20.45 в бараке было тихо, как на кладбище. В тихий час слышно было, как муха пролетает в холле. Все приказания исполнялись только бегом. Про крапиву Наталья не врала. Я сам видел, как провинившийся мальчик со слезами принес букет крапивы, и она отхлестала его этим букетом по ногам. За ней я был, как за каменной стеной. В мои обязанности входило быть рядом.

На второй день после переезда мы с ней переспали. Могли бы и в первый, но я был сильно напуган, да и она не захотела.

– А можно поподробнее с этого места и желательно без ложной стыдливости? – попросил Славик.

– Извольте, ведь я художник и повинуюсь только вдохновению. Первый день в новом отряде я помню смутно. Помню только, что Ковальчук была возбуждена и все время поглядывала то на часы, то на меня – без улыбки, без намека, с одним лишь нетерпением в глазах. У меня сердце уходило в пятки! В этот день она почти не кричала на детей, и они взирали на меня с молчаливым благоговением, прекрасно понимая, кому обязаны своим маленьким кратковременным счастьем. К вечеру Наталья сделалась ласковой со мной, и я запаниковал. Должен признаться, мой сексуальный опыт к этому времени был ничтожен. Впрочем, для Натальи это не имело значения.

После отбоя я зашел к Славику, у него уже сидел Андрей,

и спросил, есть ли выпить. Славка, кряхтя, залез под кровать и достал из чемодана зеленую и слегка липкую бутылку вермута.

– Сохранил на всякий пожарный случай... Красный. Ноль восемь. 18 градусов.

Андрюха категорически отказался от «совдеповского пойла», как он выразился, а я налил в кружку чернильной вязкой жидкости до краев. Славка дал мне теплую ириску и негромко напутствовал.

– Извини, что было, то и достал. Давай, Мишаня, прочисть чакры...

Я выпил с трудом; засопел, согнувшись. Славка сунул мне в губы сигарету, похлопал по спине

– Как тебе «шате-матэ 1905 года»?

Вермут действительно был волшебным. Блевать хотелось так сильно, что все черные мысли разбежались из моей головы, осталась только одна – удержать страшную жидкость в пищеводе, пока она не приживется...

– Ничего, – с трудом промолвил я, разгибаясь, – три ночи как-нибудь осилю, зато пан набьет мои карманы золотыми червонцами.

– Ты козак и ничего не должен бояться, – подхватил Андре, хорошо помнивший гоголевского «Вия». – Если будет совсем худо – плюнь ей на хвост. Все ведьмы этого бояться.

Друзья смотрели на меня с грустной нежностью, словно я готовился к мучительному акту дефлорации. Мы попробова-

ли поговорить о творчестве Маркеса и даже довольно громко заспорили, как вдруг у меня вырвалось непроизвольно:

– Ах, сука какая, а?! Ну что ты будешь делать с ней?!

Андрюха харкнул, чуть не подавившись печеньем.

– Главное, – сказал Славка с фальшивой решительностью, – не дай ей себя унижить.

– Я и не собираюсь, – неуверенно пробормотал я. – Я в порядке. Парни, я в полном порядке!

– А чего тогда ты такой прибабахнутый? – спросили верные друзья.

– Сам не знаю. Наверное, это элегическая грусть. Предчувствие большого чувства.

Я выпил еще полчашки адского зелья и поплелся домой. Ковальчук ждала меня на крыльце. Она курила. Я хмуро поздоровался с ней, она загасила сигарету и потянулась, не сводя с меня прищуренных, странно серьезных глаз. Я пошел к себе в комнату, разделся до трусов и повалился в мятую постель. Сердце неистово колотилось в груди, заталкивая в голову все больше и больше крови, хотя она и так уже пылала и пульсировала в висках. Вскоре я услышал шаги в холле и скрючился от страха, но скрипнула соседняя дверь, и за перегородкой раздалось мягкое шуршание. Потом настала долгая тишина, в которой отчетливо было слышно, как тяжело стонет где-то под потолком одинокий и, похоже, старый комар, и вдруг дверь распахнулась и вместе с дунувшим ароматом остро-свежих французских духов в комнату быст-

ро вошла Наталья в белой сорочке, поверх которой накинут был сиреневый, легкий халат.

– Я на минуточку, – глухо пробормотала она и присела на край кровати.

Я отодвинулся к стене. Наталья закурила и молча уставилась на меня блестящими, темными глазами, смугло-матовое лицо ее стало серьезным и сосредоточенным, словно решалась моя судьба. Потом она затушила сигарету прямо об стол и откинула с меня одеяло. Я машинально потянул его обратно, но она ударила меня ладонью по рукам и я окоченел. Не сводя с меня глаз, Наталья скинула халат на пол, осторожно залезла на заскрипевшую кровать коленями, выдернула из-под ног сорочку и, упершись ладонями в мои плечи, склонилась надо мной. Я увидел ее белые грудки и почувствовал ровное сильное дыхание на своем лице. Мне было не пошевелиться, я лежал, как распятый, на кровати, отвернувшись и задыхаясь от сладкого ужаса. Простынь прилипла к моей вспотевшей спине. Так прошла минута. Или больше? Не знаю. Вдруг она стала быстро и сильно целовать мою грудь сухими горячими губами, нежно прихватывая зубами соски. Мне было и щекотно, и приятно, и больно, и стыдно, и хотелось еще и еще... Я схватил ее за плечи, и, вздрагивая, шумно всасывал воздух через зубы. Ничего подобного со мной раньше не бывало. Как ни сопротивлялся я оргазму, он наступил бурно и несколько секунд я бесстыдно подпрыгивал на кровати, прижимая к себе ее голову и заливая

свой живот теплой жидкостью. Потом была жуткая звенящая тишина. Испуганный, пристыженный я отпихнул ее и вернулся в одеяло. Она засмеялась низким грудным смехом и встала.

– Ладно, спи, – и вышла.

– Так и ушла? Странно. Почему? – спросил Славик.

– Откуда я знаю. Может быть, у нее была менструация.

– Ладно. И что дальше?

– Вечером следующего дня она отправилась на вечеринку, которую давал в честь своего дня рождения наш лагерный физрук по кличке Жеребец. Я лег в одиннадцать и долго ворочался, пытаюсь совладать с острым возбуждением, и вдруг проснулся глубокой ночью от скрипа двери и сквозняка. В первые секунды я ничего не мог понять и только таращился в темень, приподнявшись на локтях... Наталья стояла в дверях, как привидение.

– Кто? Что? – хрипло спрашивал я, моргая.

– Я это, – сказала она низким голосом. – Не узнал?

Она бросила на стол пачку сигарет со спичками, закрыла за собой дверь на крючок, подергала ее, а потом подошла к кровати. Я дрожал и был жалок, забываемые это были минуты!

– Подвинься! – наконец промолвила она.

Я уперся задницей в стену, скомкав влажную простыню.

Наташка села мне на ноги и рывком через спину скинула с себя ночнушку. На пол. От нее сильно пахло пивом и табаком. Она шумно дышала. Я хотел было о чем-то ее спросить, но она вдруг молча упала на меня сверху и стала грубо, топорливо целовать мое лицо и шею. Я не сопротивлялся и только подумал как-то отстраненно, что меня, похоже, насилюют.

– Изнасиловала? – спросил Андрюха.

– В лучшем виде-с, каюсь. Просто стащила с меня трусы и уселась верхом. Я ахнул и попытался спихнуть ее, испуганно прошептал: «Не надо!» Она склонилась ко мне: «Почему?» – «Дети», – пробормотал я, имея в виду последствия. Она фыркнула и закрыла мой рот влажной, пахнувшей копченой рыбой, ладонью... Ушла она от меня только под утро. Я был полностью вымотан и сразу погрузился в какую-то тревожную зыбкую дрему. Сквозь нее я слышал быстрый топот в холле, детский смех и еще отчетливо помню строгий голос Натальи: «Тише дети, Михаил Владимирович отсыпается». Завтрак в тарелке она принесла мне в это утро в постель.

– Ни хрена себе! – воскликнул Славик.

– А что тут удивительного? Она прекрасно понимала, что меня надо беречь. Мой ночной сон отныне сократился до

двух-трех часов. Утром я вставал к завтраку с превеликим трудом и после него опять ложился спать часика на полтора. На утренние планерки к директору я вообще перестал ходить. Тихий час тоже был мой, зато ночи полностью принадлежали Наталье.

Это были необыкновенные ночи. Это была необыкновенная женщина. Казалось, секс для нее необходим, как воздух. Интересно, что при этом я не назвал бы ее женщиной порочной. Даже распущенной ее трудно было назвать. Да, она отдавалась часто и многим, но ведь без всякого расчета, без тщеславия, без извращенной потребности в грехе! Секс для нее и не был грехом – только честным удовольствием, которое она поровну делила с партнером. Между прочим, в сексуальной технике она не была изощрена (это теперь я могу судить), но зато можно было не сомневаться, что ее стоны никогда не будут поддельны, а похвалы – лицемерны. В наслаждениях она знала толк. Как-то она призналась мне, что первый оргазм испытала в пять лет, а в 17 лет могла достичь его прямо на уроке, лишь бы никто не отвлекал по пустякам.

Теперь я понимаю, что был щенком рядом с нею, но тогда мне казалось, что я просто супермен. Еще бы! Каждую ночь я испуганно затыкал ее рот ладонью, чтобы заглушить сладострастные стоны и крики, каждое утро она уходила от меня с благодарной усталостью, чтобы вечером вернуться с жадным томлением в глазах. Много ли надо молодому человеку?

Теперь я понимаю дурака-Феликса и многих ее любовни-

ков: всем она внушала – и притом совершенно искренно! – что он самый сексуальный мужчина на свете. Я был одним из них? Пусть! В то лето я был единственным.

Теперь я понимаю, что о такой женщине мужчина может только мечтать, но в то лето я был недоволен. Да, да, господа, недоволен и утомлен. Я, господа, был утомлен жизнью. Вы должны понимать меня, потому что вы были такими же. Утомленными. Бл...

В лагере о нашей троице изначально сложилось мнение, что «эти трое не от мира сего». Если честно признаться, это соответствовало истине. Мы жили в своем мире. Мы были гениями, которым тяжело долго находиться вместе с простыми смертными. Мы были гениальными не потому, что создали что-то великое, и даже не потому, что хотели создать что-то великое, а потому, что родились великими. Это очень волнующее ощущение. Как смотреть на мир с огромной высоты. Иногда захватывало дух.

Мы были разными в своем величии. Я смотрел на мир снисходительно. Андрей с отвращением. Славик с грустью. Но когда мы собирались вместе, то смотрели на мир с презрением. Когда мы собирались вместе, люди шарахались от нас, как от источника сильного осязаемого излучения. В этом излучении даже самые самоуверенные и сильные натуры тушевались. Взрослые начинали раздражаться и хамить, ровесники задираться и заискивать. Мы не искали брани. Нам не нужно было самоутверждаться. Мы готовы были про-

щать людям их бездарность, лишь бы они не требовали равенства. Люди все равно обижались.

С девчонками все складывалось сложнее. Поскольку гениальность изначально не входила в круг понятий, имеющих отношение к слабому полу, презирать девчонок казалось как-то даже несправедливо. Ведь никому не придет в голову презирать красивую птичку за то, что она не думает. Девчонок можно любить. Красивыми девчонками можно восхищаться. Но, главное, очень приятно, когда они восхищаются нами.

Как я уже говорил, наше появление в лагере сразу наделало большой переполох. Виной тому, безусловно, стал страшный дефицит на мужчин, но мы, трое, знали, что иначе и быть не могло, раз мы здесь. Моих друзей, как и меня, разобрали в первые же дни. Славика выбрала Люда, Андрей достался Гордейчик. Остальным оставалось только сплетничать, наблюдая за нами.

Самый приятный и спокойный вариант выпал Славику. Его Людмила была бледна, грустна и мудра. Жизнь уже побилла ее – кажется, была несчастная любовь на первом курсе, какой-то Стасик с рыжей челкой из Челябинска, которого выгнали зимой из университета после того, как он спер из раздевалки бобровую шапку и ходил в ней целую неделю, пока не обнаружилось, что это шапка декана; вроде бы, даже был аборт. Люда без лишних слов поняла, что имеет дело с гением, и носила Славке олады со сгущенкой из столовой в

тихий час. Славка брезгливо кусал пережаренные оладьи и жаловался на несносных пионеров и директора лагеря, а она, подперев ладошкой щеку, грустно кивала головой. Иногда Славка читал ей свои стихи. Люда любила стихи про любовь, но у Славки было больше про смерть и одиночество, и Люда страдала вместе с ним, слушая горькие строки:

Тишина, тишина,
Ты опять одинок.
Как надгробный венок,
Вечно горек и строг,
В перекрестке дорог...

Если чего и не хватало Славке – так это острых ощущений. Люда досталась ему слишком просто, слишком буднично уверовала она в его гениальность, слишком спокойно ждала от него великих подвигов. Секса у них не было и не предвиделось, потому что оба не хотели трахаться и ждали друг от друга чего-то другого, более возвышенного и серьезного, а оно (возвышенное) не приходило и временами становилось скучно.

У Андре все оказалось немножко сложнее. Он был не прост, но и Гордейчик не проста. Она сомневалась в гениальности Андре. Ей требовались доказательства. На мой взгляд, Андрей весь состоял из этих доказательств, однако Гордейчик думала иначе. Похоже, она ждала некоего озарения, когда вдруг все станет ясно без слов. Андрей действительно стал похож на человека, который вот-вот удивит весь белый

свет. Надменно-брезгливое выражение не сходило с его лица. Разговаривая с каким-нибудь человеком, он невольно закрывал глаза, чтобы не видеть того, кто оскорблял его эстетический вкус и нравственное чувство. Жеребец уже просто боялся его, директор закипал от одного его присутствия на утренних планерках.

Что касается меня, то Наталье было абсолютно наплевать с кем трахаться: с гением или с дураком. Скажу больше: мне и самому не хотелось перед ней выпендриваться.

Втроем мы встречались вечерами. Сначала моя Наталья была категорически против, но я знал, чем ее убедить: однажды ночью я закрылся в своей комнате изнутри на крючок и через дверь сообщил ей, что заболел. Наталья разозлилась и стала дергать дверь, пока крючок не сломался. Я лежал в постели бледный и как будто очень больной – Наталью это взбесило окончательно. Она скинула на пол одеяло и вылила на меня воду из вазы с цветами. Я заорал, дети проснулись... Наталья выбежала вон и минут через десять воцарилась могильная тишина, а потом она вернулась в комнатку и начала меня щипать и кусать, приговаривая, что это лучшее лекарство от простуды и от импотенции. И точно, кончилось тем, что мы яростно совокупились, и уже потом, в минуту блаженного покоя, я попросил ее отдать мне эти вечера с друзьями, без которых, как я убеждал ее, моя сексуальность быстро угасала. Это было серьезно, и Наталья согласилась.

Встречались мы обычно в комнате Андрухи, выпивали по две рюмки портвейна и уходили к озеру. Озеро было большое, холодное, всегда подернутое зыбью, с густой щетиной бурого тростника на мелководьях и матово-свинцовыми проплешинами на середине; берега высокие и песчаные, поросшие молодыми соснами и березняком; вечера тихие, ароматные и теплые, а разговоры наши были упадническими до безобразия. Не было живого человека, про которого мы ска-зали бы хоть одно доброе слово, из мертвых не ругали толь-ко Герберта Спенсера и Платона, да и то однажды Андрей высказался в том духе, что последний был все-таки муда-к. Про наших девчонок мы почти даже не вспоминали, потому что неприлично отвлекаться от высоких мыслей на пустяки. Иногда мы встречали на дороге, ведущей к купальне, деву-шек-пионервожатых из других отрядов и высокомерно про-ходили мимо. Не знаю, что они думали про нас, но ни разу я не слышал, чтоб они засмеялись нам в спину.

Наши возлюбленные переносили эту блажь по-разному. Моя Наталья мудро считала, что, чем бы дитя ни тешилось – лишь бы трахалось; Люда давала Славику в дорогу пирожок или бутерброды, которые мы с удовольствием съедали у ко-стра; Гордейчик терпела эти отлучки с подчеркнутым равно-душием, за которым угадывалась ревность и недовольство. А нам было все равно. Нас любили бескорыстно, нами вос-хищались искренно, нас даже ненавидели, завидуя; мы бы-ли молоды, беспечны, талантливы и – что еще надо человеку

для полного счастья? А, господа?

– Да уж – вздохнув, пробормотал Андрей, грустно глядя в костер.

И Славик тоже вздохнул, но с улыбкой. Мы очень живо вспомнили эти вечера и невольно подумали и про то, что нам теперь уже за сорок и про то, что никогда теперь уже не будет у нас таких вечеров.

– Я помню, как нас со Славкой пригласила в гости Афонина, – сказал Андрей, – а мы с ним решили бросить жребий, прямо в ее присутствии: если монетка упадет орлом, то – да, идем в гости, а если – решка, то не идем. И выпала решка, и мы пошли на озеро, а Ленка Афонина просто обалдела от такой наглости.

– Козлы, – пробормотал Славик.

– Таковы мы были, – философски изрек Андрей. – Однако мы отвлеклись. Продолжай, Майк.

– Прошло две недели – как пишут в романах. Худо ли бедно ли, но жизнь наша в лагере наладилась. Мы провели лагерную спартакиаду, потом был родительский день, после которого многие отряды, как водиться, недосчитались бойцов. В родительский день пионервожатые дали представление в помещении столовой, в котором Андрей, насколько я помню, играл роль непутевого и ленивого пионера-Вовочки. Помнишь, Андрюша?

– Это кто там отстаёт?

– Это Вова тихоход!

Андрей хмыкнул и пожал плечами.

– Однажды жарким днем я возвращался в отряд в сильной грусти. Жизнь вдруг, как это часто случалось со мной в юности, представилась мне чудовищной паутиной абсурдных миражей, и я отчаянно пытался найти спасительный смысл в том, что скоро я стану великим писателем, и тогда все ахнут и будут меня уважать и любить, и как мне, наконец, станет хорошо. Я почему-то не сомневался, что мне станет хорошо, когда я стану великим писателем, сомневался же я иногда в том, что великим писателем стану. За две недели в лагере я не написал ни строчки. Скажу больше, я и вспомнил то о своих заветных тетрадках (три штуки по 96 листов!) лишь однажды: как-то ночью Сидорчук вместо пепельницы затушила хабарик об одну из них и страшно удивилась, когда я возмутился.

– А на хрена они тебе? – спросила она.

– Надо, – уклончиво ответил я. Не мог же я признаться ей, что собираюсь писать в этих тетрадках роман. Да и когда, Господи?!

Одним словом, паскудные мысли одолевали меня как отвратительные черви. Солнце пекло немилосердно, и я решил сходить на купальню. И там увидел Нину. Она сидела

на мостках в розовом сарафане, погрузив в воду ноги, и читала книгу. Тапочки и целлофановый мешок лежали рядом с нею. Услышав скрип моих шагов по деревянному настилу, она испуганно вскочила. Я стоял перед ней, как дурак.

– Привет, – сказал я.

– Привет, – ответила она.

Мостки тихо поскрипывали под нашими ногами, где-то рядом, за березовым мыском, надрывались в торопливом крике голодные чайки, неожиданно громко плеснулась рыба в камышах.

– Что читаешь? – кашлянув, спросил я. – Макаренко?

Она протянула мне книгу. Это были стихи. Пушкина. Я хмыкнул разочарованно.

– Ну и ну. В университете проходите? Задание на лето? А я думал, ты Макаренко штудируешь. Как там наши пионеры? Оля рыжая, Петька?

– Вспоминают вас... тебя. Ольга скучает. Помнишь «Михаила Потаповича»? Вчера притащила откуда-то котенка, спрятала под кровать. Ночью Лариса меня будит: кто-то мяукает в первой палате. Я встаю, одеваюсь, а там уже крики, топот... Котенок тощий, грязный совсем. Взяла его на ночь к себе. Утром отнесли в столовую. Оля хнычет... Что-то случилось, Миша? – вдруг спросила она, вглядываясь соболезновательно в мое лицо.

– Случилось, – нехотя буркнул я.

– Что?

– Потерял смысл в жизни.

– И... что теперь? – спросила она после паузы.

– Не знаю, – пожал я плечами, – годиков до семидесяти как-нибудь перекантуюсь, а потом начну примерять деревянный макинтош... В смысле гроб, – добавил я, увидев, что она не поняла. – А ты?

– Что?

– Ты что будешь делать до семидесяти лет?

– Не знаю, – смутилась Нина.

– Главное, – учись хорошо, – назидательно сказал я, – будешь хорошо учиться – будет у тебя и деревянный макинтош из лучшего дерева. Дубовый! Не сразу, конечно, будет успех! Придется потрудиться. Сначала кандидатская, потом докторская. Зато в финале – глядишь – южный склон на Северном кладбище...

– Какие глупости! – воскликнула она. – Рисуетесь!

– Рисуюсь, – согласился я, – на самом деле все гораздо хуже. Кажется, я потерял свою бутылку портвейна. Спрятал вчера в кустах... Все обшарил и – ни фига. Не иначе местные постарались... Ты любишь 33-й портвейн?

Нина не ответила, глядя мне прямо в глаза.

– Хорошая штука. Одной бутылки достаточно, чтобы обеспечить себе смысл в жизни на целый вечер. Ведь придумал же кто-то этот божественный напиток! Я бы Нобелевскую премию ему не пожалел. Ладно, не поминай лихом.

Я повернулся, чтобы уйти и услышал.

– Миша. Постой!

Я остановился.

– А я думала о вас... о тебе.

Голос ее дрогнул и, обернувшись, я увидел, что она смутилась и покраснела.

– И что надумала? Гадости, небось?

– Нет, что ты!

– Да, ладно тебе, так я и поверил... Что еще можно обо мне подумать? Я, Нинка, законченный раздолбай. Знаешь это?

Она отрицательно помотала головой.

– А что такое раздолбай – знаешь? Нет? И я не знаю. В этом вся и штука. Кажется, это когда чувствуешь себя инопланетянином среди землян. И они об этом догадываются. Но нельзя, чтобы догадались. Заклюют. Надо все время привирать. Так... по мелочи... Что любишь детей, например. Или что любишь театр. Или что хочешь заработать много-много денег. Или что жизнь прекрасна и не надо унывать, а надо надеяться и верить... Главное, никого не удивлять. Не привлекать внимание. А то начнут рассматривать и увидят, что ты другой.

– А что ты хочешь, Миша? – спросила она – Ну, кроме портвейна, разумеется... На всю жизнь?

– Без вранья? – я прислонился к деревянным перилам, задумался, выпятив нижнюю губу – Н-ну... Хочу, чтобы завтра проснуться и обнаружить на тумбочке рукопись гениаль-

ного романа, который я сам и сочинил... Накануне... А еще лучше – уже отпечатанный роман! В роскошном таком переплете! И чтоб его зубрили все студенты в институтах. Учили бы отрывки наизусть! И чтобы портреты мои были в учебниках... Рядом с Пушкиным! А если уж совсем начистоту – хочу кожаный пиджак, «жигуль» шестой модели и двухэтажную дачу на озере.

Нина улыбнулась.

– И ты станешь счастливым? Правда?

Я задумался.

– Пожалуй, нет, – нехотя сказал я. – Нет, без бутылки портвейна все равно не обойтись. Весь ужас в том, что я мог бы запросто обойтись и без романа, если бы не потерял бутылку...

Нина засмеялась.

– Ты рассуждаешь, как алкоголик.

– Каждый раздолбай, – наставительно сказал я, – должен быть алкоголиком. Потому что раздолбай ищет в жизни только счастье. И ничто другое ему это не заменит. Ибо, как гласит главное правило раздолбая: кто счастлив – тот и прав!

– В чем прав?

– В главном: в смысле своего существования.

– Разве только водка?

– Нет, конечно. Находятся чудачки, которые счастливы даже в труде.

Мы смотрели друг на друга и тут, вдруг, я увидел, что у

Нины есть груди. Довольно большие, золотистые, они вспучивались у нее из-под купальника. Не понимаю, что меня поразило, но я уставился на них, открыв рот. Нина вспыхнула и прикрыла грудь раскрытой книгой.

– Ладно... – крикнул я. – Заболтались мы с тобой. Мне пора.

– Куда ты?

– Как куда? – искренне удивился я. – Как и положено раздолбаю: куда глаза глядят! Мне все дорого открыты. Под любым деревом мне и кров, и стол.

– Миша, – вдруг тихо сказала Нина, – а ведь я должна сделать тебе признание...

– Что?

– Кажется я тоже... раздолбайка, – с трудом вымолвила последнее слово Нина. – Правда, я не умею пить портвейн...

Я присвистнул. Нина вскинула голову, блеснув глазами.

– Не веришь??

– Верю, – пробормотал я. – Нашего полку прибыло... Поздравляю...

– Возьми меня с собой! Я тоже хочу счастья!

Она смотрела мне в глаза, и я чувствовал нарастающее смущение. На меня смотрела женщина. И смотрела так, что самец во мне завил хвостом и припал к земле брюхом.

– Пошли, – хрипловато сказал я и откашлялся. – Я на дальний пляж, тут недалеко, возле...

– Я знаю, – перебила она, – вы там с Андреем и Славиком

вечерами сидите. Вас слышно бывает даже отсюда, если вечер тихий. Особенно тебя слышно. Как ты ругаешься.

– Надеюсь матом? Ладно, шучу, шучу...

Мы пошли вдоль берега по намозоленной до каменной глянцевой твердости тропинке, которая то скатывалась в сырые русла обмелевших ручьев, где комары мигом облепляли наши потные лица, руки и ноги, то упиралась в гипсовые от горячей пыли непреступные заросли ежевики и малины, и мне приходилось руками раздвигать колючие, переплетенные жгучей крапивой, ветки. Нина молчала. Я тоже. Где-то между нами была Ковальчук, но мы старались не обращать на нее внимание.

Дикий пляж был совсем пуст. Я разделся и с разбегу бухнулся в прохладную воду. Нина сначала сидела на берегу, а потом скинула с себя сарафан, под которым был черный купальник. Она заходила в воду осторожно, зябко обхватив тонкие плечи руками. Разумеется, я стал плескаться и брызгаться, разумеется, она запищала и стала умолять меня перестать, а потом упала в воду и мы брызгались и смеялись немножко сконфуженно, стесняясь друг друга...

Потом мы сидели на ее узком и коротком полотенце под кряжистой, источавшей душный смолистый аромат, сосной и дрожали, глядя в сверкающую на солнце черную воду. Она была абсолютно неподвижна в узкой бухточке из тростника и лишь вздрагивала иногда от невидимых уколов; время от времени над ней беззвучно зависали и стремительно исчеза-

ли синие стрекозы.

Мало-помалу я согрелся, озноб прошел.

– Значит, здесь вы и сидите вечерами? – спросила Нина. – представляю. Три мыслителя. Нет. Три богатыря. О чем спорите? О смысле жизни?

– Нет. О том, была ли у нашего директора мать.

Нина прыснула.

– Он вас, по-моему, тоже не жалует.

– Благодарю за комплимент.

– Он несчастный. Зря вы так.

– Это наш Маразм Мудищев несчастный?! – изумился я.

– Конечно! Разве ты не знаешь? Несчастный и одинокий.

Это он на публике грозен. Я как-то зашла к нему в кабинет без стука. Он сидел за столом и... поднял голову, и, знаешь, я увидела такие затравленные глаза... В них был ужас и какая-то обреченность... Я даже забыла с чем пришла. Знаешь, кого он мне напомнил? Такого старого, лохматого, большого пса, который лает и рычит на всех без разбора за миску похлебки, а когда хозяин не видит, лежит у конуры со слезящимися глазами и вздрагивает от каждого шороха, дрожит от холода...

– Ну, извини, собак я люблю, сравнение некорректное.

– Наша старшая говорила, что он жену схоронил два года назад... Очень любил ее...

– Ага, и с тех пор переменялся. И теперь ждет, когда прекрасная принцесса освободит его от злых чар, влюбившись в

него по уши... Не понимаю людей, которые свою боль гасят болью других. И вообще, пошел он к черту! А, Нин? Не хочу об этом козле...

– О чем тогда?

– Ну... вот я думаю, сидим мы с тобой, в сущности, голые и не стесняемся ведь друг друга... почему?

– А я стесняюсь, – возразила Нина и склонилась к коленям.

Я бесстыже рассматривал ее спину, с трудом останавливая свое желание расстегнуть застёжку ее лифчика или поцеловать ее в плечо, припудренное белым озерным песком. Лесная муха жужжала над нами, словно над шикарным шведским столом.

Нина вздохнула. Она подняла веточку и что-то чертила ей на песке. Где-то далеко в нашем лагере заиграл пионерский горн.

– Тихий час закончился, – сказала Нина задумчиво. – Надо возвращаться.

– Ну и черт с ним. Хорошо тут. Правда?

Нина не отвечала, глядя в свой узор на песке.

– А ведь я думал о тебе все это время... Часто. Скучал... Ты слышишь, Нин?

– Полдник скоро.

– Перебьемся. Я не голоден. А ты?

– Лара будет меня искать.

– Пусть ищет.

– И твоя... будет тебя искать.

– Наталья то? – спросил я сломавшимся чужим голосом.

Роковое имя было наконец-то произнесено.

– Угу.

– Да пошла она.

Нина повернулась ко мне. Я вспыхнул и забормотал.

– Я сам по себе, она сама по себе... Где хочу там и гуляю.

У нее своя жизнь, а я свободный человек. Вот что. А не так что...

– Миша, а кто тебе спину расцарапал? – вдруг спросила

Нина.

– Какую спину? – не понял я.

– У тебя спина расцарапана.

– Да ты что? – я пошевелил лопатками. – Понятия не

имею.

– Такое впечатление, как будто ногтями.

Я обомлел. Ну, разумеется, ногтями: Наталья, когда входила в раж, могла и укусить, и поцарапать.

– Черт побери! – только и вымолвил я, и упал спиной на горячий, колючий от сосновых иголок песок.

Нина смотрела на меня сверху с простодушным любопытством.

– Вчера она приходила ко мне в отряд.

– К тебе?! – я быстро выпрямился. – Зачем?

– Спрашивала про тебя. Про нас.

– Да ты что! И молчала?

– Ты не спрашивал.

– Ну, Наташка, ну зараза... Ну, и?

– Она уверена, что мы... что ты... Ну, что у нас с тобой что-то было.

– Ну, а ты? Ты-то что ей сказала?

– А я сказала правду.

– Это как? – спросил я, нахмурившись

– А вот так! Как было, так и сказала.

– Ну, правильно, – сказал я с облегчением. – Ничего ведь не было.

– Ты уверен? – спокойно спросила Нина.

– То есть как это? Разве было? Шутишь?

Нина долго не отвечала, опять рисовала на песке узоры.

– Сидорчук не глупа, – наконец загадочно произнесла она. – Ее не обманешь. А ведь ты боишься ее, Миша. Боишься...

– Боюсь, – признался я неожиданно для себя самого. – Ты ее не знаешь. Это стихия. Тайфун. По-моему, ее сам директор наш побаивается.

Она насмешливо посмотрела на меня.

– Какой же ты джигит, если женщину боишься?

Я промолчал.

– Я сказала, что между нами ничего не было и... не будет.

– Да? – глухо отозвался я. – Откуда такая уверенность?

Нина не ответила, сломала прутик и бросила его в сторону.

– А что я должна была ответить? К тому же она все равно мне не поверила.

– По себе судит! – буркнул я сердито. – Сама не может без этого и дня, вот и кажется, что все такие... Это просто ужас, Нин. Я за неделю килограммов пять сбросил. Она же просто чокнутая. Астарта! Представляешь... Ты что??! Обалдела?!

Нина швырнула мне в лицо горсть песка. Щеки ее пылали.

– Что ты, что ты Нин?? С ума что ли...

– А ты? Ты по себе судишь?! – зло крикнула она.

– Нин, ну что ты придумала? Я...

– Хватит! – неожиданно властным голосом прервала она меня, – меня совершенно не интересует, что вы делаете с этой... с этой особой! Пожалуйста, избавьте меня от подробностей!

– Нина, я клянусь...

– Зачем вы клянетесь? – искренне изумилась она – Зачем вы унижаетесь, Миша? Разве вы обязаны передо мной отчитываться? Разве я прошу вас об этом? Ведь это же гадко, глупо, грязно! Зачем??

– Нина, я прошу, требую, умоляю: давай на ты! Иначе я просто сойду с ума. Пожалуйста! Мы же не на сцене!

Нина закрыла лицо ладонями и заплакала.

– Миша, неужели ты не понимаешь. Если ты так гадко говоришь про нее, то, что же ты говоришь ей про меня?!

Господа, я не знал, что мне делать. Это была отчаянная минута. Я обнял ее за плечи и вдруг подумал, что уже ничего

не могу изменить, что сюжет развивается по своей загадочной траектории, что меня кто-то просто взял властной рукой за шиворот и неумолимо тащит к финалу, и что мне, пожалуй, не стоит сопротивляться, иначе я запросто могу сломать себе шею...

...Мы вернулись в лагерь перед ужином. Виноватые и счастливые. Нас искали. Меня искала Сидорчук и старшая пионервожатая, а Нину – Лариса. Лариска-дура зачем-то пришла искать напарницу в мой отряд. Сидорчук напугала ее матерной бранью и предложением выпить водки и поговорить за жизнь.

А мы гуляли. Сначала в светлом сосновом лесу, который весь был расчерчен сухими песчаными дорогами и добродушно гудел от множества толстых шмелей и мух, потом в жарком поле на сухих проплешинах искали спекшуюся от солнца землянику, всю обсыпанную пылью и песком, который скрипел на зубах и наполнял рот едкой горечью. Что-то на нас нашло; мы были как блаженные. Я не помню, о чем мы говорили. Это был какой-то вздор, понятный только нам обоим. И еще, я помню, что умирал от желания заблудиться с ней в дремучем лесу. Помню, что смеялись мы без всякого повода до слез, до икоты, которая вызывала новые приступы смеха.

Где-то за спиной был лагерь, который время от времени звал нас гулко и хрипло из своих старых динамиков; где то далеко была сердитая Ковальчук, нетерпеливо поглядываю-

щая на часы; мрачный директор, решающий неотложные вопросы в своем сумрачном кабинете; орудие мерзкие пионеры, а мы, как два беспечных беглеца, кружили по каким-то волшебным лесным тропам, ускользая лишь от одной, ведущей в лагерь...

В лагерь мы вошли поодиночке. Наталья встретила меня на крыльце, скрестив на груди руки.

– Ну и? – сказала она ледяным голосом.

Я чмокнул ее в нос.

– Заблудился. Извини.

– С кем?!

Я сделал оскорбленное лицо. Пионеры уже выстроились в шеренгу и ждали приказа идти на ужин. Наталья проглотила обиду, но лишь на время. За ужином я безуспешно развлекал ее, как мог, а перед отбоем просто сбежал в отряд к Славке.

– Ты где был? – спросил он. – Сидорчук прибежала, искала тебя. К Андрюхе тоже бегала.

Я легкомысленно махнул рукой.

– Хрен с ней. Слушай, я, кажется, подсел на Социалидзе.

Славка присвистнул.

– Как это тебе? – тревожно спросил я.

– Ковальчук тебе яйца оторвет, – сказал мой верный товарищ.

В эту ночь Сидорчук не оторвала мне яйца, но совершенно измучила меня допросом с пристрастием: где и с кем я пропадаю полдня. Она щипала и кусала меня при этом от-

нюдь не шутя и в конце концов я тоже разозлился и укусил ее за плечо так сильно, что она заорала на весь дом. После этого, что интересно, она успокоилась и вдохновенно трахнула меня в своей излюбленной позе сверху.

Андрюха крякнул и переглянулся со Славиком. Я налил себе чаю. Костер дотлевал и мы равнодушно смотрели, как из дымящегося вулканчика пепла выдавливаются последние язычки красноватого пламени. За дровами идти никому не хотелось. Солнце пекло как летом. Мои друзья погрузились в воспоминания, а я отдыхал, привалившись спиной к березе. Андрюха вспомнил, что вел в то лето дневник.

– Намедни пробовал его перечитать. Матка Боска! Ни одного лица, ни одного события – сплошные идеи и глубокие мысли.

– О чем? – спросил Славик.

– В том то и дело, что понять невозможно. Полная ахинея: что-то про литературу, что-то про бесконечность. Какие-то графики, синусоиды, кривые. О чем я думал тогда, в каком мире жил – не пойму сейчас! А вот как Сидорчук искала Мишку после обеда, помню хорошо. Она и ко мне приходила, спрашивала... Так выходит, что ты влюбился в Социалидзе именно в тот день?

– Выходит, что так. Впрочем, если это была любовь, то довольно странная, надо признаться.

– То есть? – поднял удивленно брови Андрей.

– Ну, во-первых, я не испытывал к ней сексуального влечения. Иначе говоря, не хотел ее трахнуть.

Славик присвистнул и недоверчиво хмыкнул. Я нахмурился.

– Господа, я обещал говорить вам только правду, и теперь вправе рассчитывать, что вы не станете испытывать мою откровенность подсказками, почерпнутыми из банальных любовных романов.

Андрей привстал и учтиво поклонился.

– Сударь, я приношу Вам извинения за себя и своего легкомысленного друга. Надеюсь, мы больше не дадим вам повода раскaissаться в собственной доверчивости. Продолжайте, прошу вас.

– Итак, я не оговорился. Я не испытывал к Нине сексуального влечения. Во всяком случае, сильного и явного. Странно, не правда ли? Я готов был в ту пору трахнуть толстую старую повариху из лагерной столовой, а вот красивую утонченную Нину не хотел. И в тоже время влекло меня к ней необоримо.

Манерничал, рисовался я в ту пору ужасно. Самим собой быть мне было просто невыносимо. Мы, молодые люди 70-х, вообще были увлечены тогда этой дурацкой игрой: кто-то играл в гениального поэта, кто-то в неистового комиссара времен гражданской войны, кто-то в таежного романтика и гуляку, кто-то в блатного, кто-то в супермена-спецназовца! Никто не хотел быть просто слесарем или просто инжене-

ром. Самой большой популярностью пользовался персонаж под названием «непонятый талантливый человек» и «непонятый страдалец за правду»... Особенно страдали этой болезнью молодые мужчины. Очень модно было отбиться от стада и загадочно грустить в одиночестве, пока не находилась какая-нибудь сердобольная душа, томимая скукой и обывательской пошлостью, готовая влюбиться в любого дуралея, лишь бы он обещал ей сложную психологическую загадку и бурный драматический финал. Я и сейчас не могу понять истоков этого массового умопомрачения. Или скучно нам было в стране советской жить? Или сам воздух в стране был отравлен безумным пафосом какого-то грандиозного и бессмысленного строительства, когда от каждого требовалась какая-то яркая роль, какая-то маска; отсидеться в этом спектакле было невозможно!

Ну, про врожденную гениальность свою я уже говорил. Но это была, так сказать, главная роль, ведущая, а ведь я умел и другие... Например, у меня была роль, довольно забавная и характерная, надо признаться. Я сразу усвоил с Ниной какую-то небрежно-хамскую ухарскую манеру поведения, которая мне самому представлялась очень мужественной и подходящей моему положению. Я был этаким тexasским ковбоем, андалузским мачо, гопником с улицы Народной, Волком Ларсенем, Хемингуэем и Есениным в одном лице (лиц, составивших этот мой персонаж, было гораздо больше, но все они были грубы, агрессивны и высокомерны). И,

конечно же, я был советским Байроном. Ну, вы знаете, как это было в юности – главное, всех презирать, ничему не верить и научиться корчить демоническую рожу. У меня получилось неплохо: именно рожа. Особенная щекочущая прелесть заключалась в том, что рожа появлялась на моем лице всегда внезапно и всегда некстати. Вот только что мы весело болтали обо всем на свете и смеялись и вдруг я – мрачен и дик, я не отвечаю на вопросы, я не улыбаюсь, я весь застыл в каком-то столбняке!

Нина робела. О, господа, как очаровательно она робела! Так робеют дети, напуганные страшной сказкой.

Разумеется, я не был только хамом. Разумеется, в моем хамстве она должна была видеть скорее первобытно-суровую сильную мужскую природу, нежели скверное воспитание и нравственную дикость. Разумеется, время от времени я удивлял ее странной начитанностью (один Герберт Спенсер чего стоил!), неожиданной деликатностью, и даже ненаигранной робостью, которая придавала моему варварству особенную сентиментальную прелесть.

Зато я был умный. Ум был моей религией. Я любил с ней спорить. О чем угодно. Например, я готов был доказать ей, что она не существует (сказывалось влияние Спенсера). Я нагромождал вокруг этой абсурдной идеи целые горы чудовищных силлогизмов и, забравшись на самую вершину, обрадовано кричал оттуда:

– Ну, теперь ты поняла, поняла меня?

Боже мой, я сам себя не понимал, однако, Нина старательно морщила лоб, пытаясь добраться до сути.

– И самое главное, – орал я где-нибудь в сосновом бору, распугивая зайцев. – Самое главное ты не сможешь мне доказать, что я тоже существую. Вот шишка, видишь, простая сосновая шишка, я бросаю ее на землю и теперь спрашиваю тебя: «Когда закончилось ее движение?»

– Уже закончилось.

– А вот и нет!

– Понимаю, земля движется вокруг солнца.

– Нет, нет и нет! – вопил я, размахивая руками в истеричном возбуждении. – В том то и дело, что нет! Шишка не прекращает своего движения даже по отношению к Земле. Ее движение становится только бесконечно малым! Представляешь?!

Ласково светило вечернее солнце. Я торжествующе раскидывал руки, как будто вот сейчас, после моего страшного открытия, мир рухнет в тартары. А мир стоял себе, а Нина вдруг приседала на корточки, срывала из-за моей спины крохотный кудрявый кустик земляники.

– Ты посмотри какая прелесть. А как пахнет! Понюхай.

Я видел с какой нежной, глупой доверчивостью глядели ее черные глаза, злился и говорил с досадой.

– Да ну тебя. Ты не о том думаешь.

Была еще одна тема, которая вызывала наши споры – ком-

мунизм. К моему изумлению, Нина верила в него, как в историческую неизбежность. С таким же изумлением она узнала, что я в него не верю. И отец ее, и дед, и даже прадед были большевиками чуть ли не ленинского замеса и, похоже, преуспели на своем поприще не только как теоретики марксизма, но и как пламенные революционеры. Дважды мы весьма всерьез и болезненно поспорили с ней по этому поводу, наконец я усвоил некий насмешливый тон в этом вопросе, но особенно ее своим нигилизмом не допекал.

Больше всего мы болтали о литературе. Нина обожала Пушкина, она часами могла декламировать его стихи. Я слушал ее с насмешкой: я был выше Пушкина. Я был выше поэзии. Я молчал. Я и сам был велик. Я знал что-то пугающее. Страшное. Окончательное. Говорю же вам – Байрон! Байрон!

Хорошо было, когда я не ломался. Когда мы купались, или ели землянику, или я рассказывал веселые истории из жизни улицы Народной. Одним словом, когда эта сволочь Байрон оставлял меня в покое. Тогда я чувствовал себя почти счастливым человеком! Почему почти? Хороший вопрос. Потому что с каждым днем становилось очевиднее, что между нами любовь. Любовь, господа, – это не шутка. Если она пришла – хлопот не оберешься.

Надо, надо было господа решаться на банальный и суровый грех. Видит Бог, я сопротивлялся. Боялся. Не хотел. Но знал уже, что это неизбежно. Кто заставлял меня? Тоже хо-

роший вопрос. Был у товарища Байрона двоюродный брат (я уже упоминал о нем), который в ту пору властвовал над моей душой – тупой, немногословный и небритый супермен-мачо, который бил всегда прежде, чем думал, ни в чем не сомневался, никого не боялся и трахал все, что движется – этакое порождение юношеской похоти и диких нравов улицы Народной. В сексуальных вопросах это был мой главный авторитет, «пахан», и если он говорил «надо» – то здравый смысл говорил мне «гуд бай». А надо ему было всегда. Утолить его амбиции было невозможно. Это вообще был редкий гад. Я боролся с ним всю жизнь и до сих пор не могу сказать, что одолел его.

– Это заметно, – пробормотал Андрей и тут же замахал руками. – Извини, извини! Дальше!

– Ну что дальше... Нина даже не догадывалась, какие мысли и страсти мучили меня. Мы встречались с ней урывками днем, чаще вечером, когда я врал, что иду на встречу с вами. Помните?

– Да, – сказал Славка, – я лично помню. Наталья несколько раз пыталась меня и Андрюху: с кем ты проводишь вечера. Врать ей было трудно, между прочим.

– Спасибо, выручали. Догадывалась ли Наталья о нашей дружбе с Ниной? Несмотря на конспирацию и на то, что вы,

мои верные друзья, умело создавали мне вечерние алиби – думаю, что да. В лагере, как и в деревне, трудно утаить подобные вещи. Как-то она сказала мне.

– Узнаю, что бегаешь к этой Коммунидзе – яйца оторву.

Она шутила, но уже раздраженно. Не думаю, что Наталья была способна на глубокие страдания из-за измены. И уж совершенно точно, что в приступе ревности она была способна, скорее, оторвать яйца своему обидчику, чем сокрушаться в глубоких скорбях и обидах.

К стыду своему должен признаться, что меня назревающий конфликт беспокоил куда больше, чем Нину. С каждым днем врать и изворачиваться становилось все трудней. Однажды я пожаловался Нине, что Наталья меня изводит своими подозрениями и ревностью. Неожиданно Нина вспыхнула.

– Ты не должен так себя вести. Ты мужчина. Почему ты все время боишься и прячешься?

Глаза ее пылали гневом. «Эге-ге, матушка, подумал я, вот она кавказская кровь».

– Я просто не хочу скандала.

– Он будет, – твердо сказала она.

В пятницу приехал Феликс. Я столкнулся с ним на крыльце. Был он высок и худ. Лицо его вызывало в первый миг неприятное удивление. Это было лицо классического голливудского маньяка: белесые брови, белесые ресницы, выпуклые светлые глаза, узкий подбородок... Желтая кожа обтяги-

вала высокий выпуклый лоб, крючковатый нос нависал над бледными, тонкими губами, ранние залысины блестели, волосы пепельного цвета были жидки... Я просто раскрыл рот.

– Феликс, – сказал он, протягивая руку.

Я пожал влажную ладонь и машинально вытер руку о брюки.

– Меня зовут Феликс, – повторил он назидательно.

– Понял, – сказал я.

– Вы не подскажите, где я могу найти Наталию Сидорчук?

– Она...

– Блин! – услышал я за спиной громкий голос – Кого я вижу! Феликс!

Феликс вздрогнул и пригнулся; его лицо приняло радостное и в тоже время испуганное приниженное выражение. Я обернулся. Наталья стояла, скрестив руки, и ухмылялась.

– Приехал, родимый. Зайчик мой... Как же ты нашел наш лагерь?

– Это было нетрудно, – сказал Феликс и почему-то озлобленно на меня глянул.

– Вы познакомились? Миша, это Феликс. Курсант училища... блин, всегда забываю название...

– Пушкинского, артиллерийского... – буркнул Феликс.

– Ну да, помню: то ли Пушкин, то ли пушки... Третий курс. Офицер!

– Перешел на третий, – пробубнил Феликс глухо.

– Какая разница! Опять занудничаешь? Он невыносимый

зануда, – сказала Наталья, обращаясь ко мне. – Я говорю ему: «Феликс, с твоей внешностью надо быть раздолбаем, а ты – педант и... этот, как его...»

– Мизантроп, – подсказал Феликс, багровея и переминаясь с ноги на ногу.

Мне было и смешно, и жалко его.

– Во-во! Мизантроп! Как ты будешь из пушки стрелять с такой кислой физиономией? Кстати! – Наталья вновь обраталась ко мне. – Он мне обещал из пушки дать пострелять. Обещал? – величественно возвысила она голос, обращаясь к Феликсу.

Феликс кивнул головой.

– Так и когда же?

– Скоро, – выдавил Феликс и глубоко вздохнул.

Я решительно сказал.

– Ну, вы тут как-нибудь... а я схожу в пятый, у Славки надо книжку забрать. Я скоро вернусь, ладно, Наташ?

Наталья кивнула. Спускаясь по ступеням, я услышал, как она фыркнула.

– Ну что стоишь? Пошли, покажу тебе мое жилье. Твоя сумка-то где? Где подарки, говорю? Ты ведь с подарками приехал?

Феликс что-то отвечал своим глухим голосом, я не слышал.

Славку я обнаружил на веранде за весьма странным занятием. Он мастерил огромный бумажный самолет. Рядом тол-

кались и сопели два пионера в одинаковых зеленых шортах с лямками на голое тело. Увидев меня, пионеры недовольно зашмыгали простывшими носами и расступились, а Славка торопливо протянул руку и тут же склонился над своим незаконченным изделием.

– Миг-25, – пояснил он. – Последняя модель. Скорость – две тысячи километров в час, а дальность...

– И не две тысячи километров в час, а две с половиной тысячи километров в час – поправил Славку пионер, у которого на брюхе краснела царапина устрашающих размеров. Славка поднял голову и внимательно посмотрел в глаза пионеру. Пионер попятился и шмыгнул носом.

– А дальность, – продолжал Славик сухо, – просто охренительная. Вчера был рекорд...

– От столовой до самого озера! – восхищенно подхватили пионеры, приплясывая от возбуждения. – Высоко, высоко! Далеко, далеко!

Самолетик был закончен. Славка любовно пригладил углы, расправил бумажные крылья и передал его пионерам в руки.

– Без меня не запускать! Залейте в баки горючего, да побольше! Приготовьте пушки к бою!

– Есть! – заорали пионеры и потащили гигантский самолетик на аэродром.

Славка смотрел им вслед.

– Вчера, действительно, охренительно далеко залетел.

Удачная модель. Лучшие куски ватмана угробил. От стенгазеты. И вот на тебе: утопился в озере. Беда, если сильный ветер... Ты слышал, что учудил наш старый козел? Лагерный турнир по бадминтону. Пионервожатые участвуют! Ты чего такой прибабахнутый? – все это он выложил однотонно-бесстрастным голосом.

– К Наталье полюбовник приехал. Феликс который...

– Ну так и классно, – равнодушно сказал Славка, доставая сигареты, – дух переведешь. А то в последнее время ты стал совсем нервным. Как он?

– Франкенштейн.

– Понятно. Наталью потянуло на остренькое.

Мы закурили и перебрались под могучий куст акации, в тени.

– А как твоя... – спросил Славка, – никак не могу выговорить ее фамилию.

– Социалидзе-то? Просто зови ее Ниной. Нормально. То есть не нормально. А может быть нормально? Хрен его знает, одним словом.

– У вас с ней хоть было... что-нибудь?

– Было. В прошлых жизнях.

– Ну и ну. Чем же вы занимаетесь?

– Гуляем, – нехотя произнес я. – Спорим...

– О чем.

– О коммунизме... Нет, серьезно, о коммунизме в том числе.

– Понятно, – вздохнул Славик. – Скоро я со своей тоже... коммунистом стану. Вчера со мной не разговаривала. Надулась как кобра. С ней это часто бывает: вдруг надуется и молчит. Я сначала переживал, а потом привык. Это у нее манера такая: демонстрирует чувственную глубину своей натуры.

– Да и пусть молчит.

– Нельзя. Ты не понимаешь. Нужно непременно разгадать: почему она молчит. Иначе она просто изведет тебя своим молчанием. О, это не просто, скажу я тебе. Тут Достоевский, Тургенев... Тут возвышенный обман и страдания. Тут... – Славка кашлянул, покачал головой – Прошлый раз, например, она молчала, потому что я небрежно пожелал ей спокойной ночи. Как тебе? Насупилась с утра. Я и так и этак: понять не могу, что случилось. Грешным делом подумал, может быть, она слышала, что про нее Андрюха говорил...

– А что он говорил?

– Ну, ты что, Андрюху не знаешь? Что дура манерная и все такое прочее. В принципе, он прав, конечно, но ведь других-то нет. Короче, к обеду только расколосась: мол, я тебе пожелала спокойной ночи, а ты только хрюкнул в ответ. Вот и вчера тоже... Молчит. От греха подальше пошел к Андрюхе. А там Гордейчик. Сидят оба красные. Молчат. Я говорю: «Привет ребята». А они молчат. Злые оба. Я думаю, ни хрена себе! Смотрю – на столе Андрюхина тетрадка раскрыта, а там – его гениальные стихи. Что-то про космос, смерть и бессмысленность. Ну, я тогда и говорю, чтоб поддержать

разговор: «Жизнь, мол, бессмысленна». Смотрю, Андрюха поскучнел, а Гордейчик ядовито усмехается: «Ого, – говорит, – еще один Байрон. Не много ли на один советский пионерский лагерь?» Я спрашиваю по-глупому: «А кто, мол, еще?» – «Да вот Бычков, – говорит, – да ты, да этот ваш еще один... тоже ходит... принц датский». Я говорю: «Мишка, что ли?» А она: «Мишка, Мишка, кто же еще. Англоман с улицы Народной. Как завернет: «Иц э Грейт Бриттен энд Ноуф Айленд», а у самого брюки дырявые!»

Я невольно осмотрел свои брюки. Дырка действительно была. На левой брючине. И Славка ее увидел.

– Маленькая. Почти незаметно, – сказал он успокаивающе.

– Скажи мне, Славка, кто мы такие?

– В смысле?

– Мы раздолбаи? Или гении? Вот в чем вопрос.

– Все гении – раздолбаи, – подумав, ответил Славка.

– Но не все раздолбаи – гении, – ответил я со вздохом.

Где-то за деревьями взвизгнул пионерский горн и раздался хохот. Акация зашумела над нашими головами, стряхивая за шиворот колючий мусор.

Я выбросил окурок и поднялся.

– Ты куда? – уныло спросил Славка.

– Иц э Грейт Бриттен энд Ноуфен Айленд! – ответил я громко и пошел к своей даче.

Часа два я играл в шашки со своими пионерами. На обед

– впервые! – Наталья не пошла. Она появилась на крыльце в новом лиловом сарафане с глубоким декольте, манерно закурила и сказала каким-то волнующе-отрешенным голосом, глядя вдаль.

– Миш, своди их сегодня сам. Мне что-то есть не хочется.

Мне вдруг показалось, что все пионеры посмотрели на меня сочувствующе. Я почему-то вспыхнул.

– Ладно. Какие проблемы.

Укладывал детей на тихий час тоже я. Благо они были вышколены так сурово, что мне даже не потребовалось повышать лишний раз голос.

Потом я лежал в своей комнатке на смятой кровати, курил в потолок и слушал, открыв рот и бледнея, как в соседней комнатке нервно вскрипывала кровать, звучал приглушенный смех и странное шуршание. Иногда, грубо, резко раздавался громкий голос Натальи.

– Ну ты, охренел что ли?!

– Эй, полегче!

– А мне-то что, что ты подумал! Перебьешься.

Глухо, низко бубнил что-то голос Феликса и опять его громко перебивал голос Натальи.

– Да перестань ты мне голову морочить! Расслабься. Я говорю: отдохни от этой мысли!

Феликса я увидел только вечером, пригнав в стойло после ужина свой маленький отряд. Он сидел на крыльце, обнявши коленки, и раскачивался, уставившись в одну точку.

Пионеры осторожно обходили его стороной. Я переоделся и присел с ним рядом. От него пахло вином. Он посмотрел на меня сбоку.

– Выгнала, – сказал он.

– Кого? – не понял я.

– Меня выгнала. Сидорчук.

Я не нашелся, что ответить.

– Хочешь выпить? – спросил Феликс.

– Хочу! – обрадовано сказал я.

– У меня есть коньяк, – Феликс тоже оживился, – дагестанский. Взял на всякий случай.

Я захватил из своей комнаты два стакана, пачку печенья, и мы перебрались с ним на уютную лужайку, отгороженную от лагеря высоким забором из цветущего красного шиповника. На траву я бросил пиджак. Феликс достал из сумки бутылку, вгрызся зубами в горлышко и выплюнул пробку. Я подставил граненые стаканы.

– За что? – спросил он, поднимая стакан и усмехаясь.

– За любовь.

Мы выпили. Феликс вяло откусил печенья, он был подавлен. Мне наоборот стало хорошо. Я похлопал его по коленке.

– Все отлично, старик, все нормально.

– Я люблю ее, – выдавил Феликс, отрешенно уставившись в траву.

Я деликатно кашлянул.

– Тебе не понять... Извини, но тебе никогда не понять,

что такое любовь, – упрямо проговорил Феликс.

Я посмотрел на бутылку, в которой было еще больше половины, и согласился легкомысленно.

– Наверное... Не каждому дано. Любовь – это дар.

Феликс усмехнулся. Мне стало стыдно. Однако он был увлечен своими сумрачными воспоминаниями.

– Мы познакомились на танцах. В нашем училище. Я сразу ее увидел. Представляешь? Три сотни человек в зале, а я увидел ее сразу. И как будто вот здесь... за сердце кто-то схватил и – не отпускает... Платье красное, туфли черные, губы алые... И этот профиль... Как у римской патриции... На танец ее пригласил... А она – согласилась... Ты хоть видел, какой у нее профиль?!

Он яростно посмотрел на меня. Я замер, перестав жевать печенье.

– Видел, как она смотрит?!

– Видел, – осторожно проговорил я, боясь его ранить. – Так смотрит, что думаешь: «Ничего себе! Вот это да».

– Я готов на колени падать, когда она на меня смотрит, – строго возразил он. – Это взгляд самки, которая готова сожрать самца...

– Да ладно тебе... – начал было я примиряюще, но он меня прервал.

– Думаешь, она меня любит?

Я так не думал, но промолчал.

– Черта с два! Она никого не любит. А если и полюбит

– горе этому человеку. Мы переспали с ней через два дня, можешь себе представить?

– Могу, – ответил я, невольно вспоминая на какой день знакомства мы с Натальей трахнулись.

– Я понимаю, что это глупо... – Феликс обхватил голову руками и стал раскачиваться. – Но я готов отдать ей все. Все, все! Все без остатка.

Я поглядел на него и невольно подумал, что отдавать, в сущности, нечего. На побледневшем лице его выступили красные пятна, глаза увлажнились. Он вот-вот готов был заплакать. Я разлил коньяк по стаканам. Себе налил больше. Он не заметил.

– Мы с ней пили шампанское прямо в парадной... – мычал он. – С ума можно сойти. Из горлышка! А закусывали шоколадными конфетами... И она целовала меня... везде. Как она целуется! Если б ты знал, Миша, как она целуется!

– Классно? – учтиво спросил я. Но Феликс меня не слышал.

– А потом она и говорит: «У тебя есть кто-нибудь?» Я говорю: «Есть. Нюра». А она: «Брось ее. Ты будешь только моим». И я бросил. Миша! В ту же секунду, можешь себе представить? Не задумываясь. Нюра хорошая девушка, Миша, очень хорошая. Учится в институте культуры. На библиотекаря. Говорит мне: «Не волнуйся, Феликс, любимый, я буду работать в гарнизонной библиотеке – где ты, там и я!» Понимаешь: любимый! А я ее бросил... Позвонил в тот же вечер и

сказал: «Все кончено между нами». Так и сказал: «Больше не звони и не пиши». Она плакала... Спрашивала: «За что?» – Феликс скрипнул зубами, замолчал и неожиданно пафосно добавил. – У нее родители инвалиды первой группы! А я? Кто я после этого? Теперь она меня презирает.

– Ну их всех... Не грусти. Найдешь себе другую.

– Я предложил ей выйти за меня замуж!

– Кому, Нюре?

– Какой Нюре?! Наталье!

– А она?

– Отказала, – прошептал он.

– И правильно... – сказал я, залпом выпив коньяк. – Ну то есть, извини, я хотел только сказать, а на хрена тебе такая головная боль? Какая семья с Сидорчук?

– Вы с ней трахались? Только честно? Как... офицеру, глаза в глаза!

Я отложил стакан, выпучил на него глаза и нахмурил лоб, стараясь показаться честным.

– Да!

Лицо его исказилось. Мне показалось, что он сейчас кинется на меня, и я отодвинулся, но вместо этого он трагически сказал.

– Наливай!

Я повиновался с удовольствием. Этот стакан для него был лишним. Скоро Феликс начал заговариваться.

– Первый год... ну, предположим, Оренбург... двести

двадцать чистыми, а с надбавками и все двести пятьдесят. А потом как получится, но не меньше двухсот пятидесяти... А там – замкомроты, замком батальона и вот пожалуй-ста – триста... А если северные? А если замкомполка – это как? А? А пятьсот не хочешь?! Пятьсот плюс на всем готовом! Живи и радуйся. Нет, нам нужен Ленинград! Театры, музеи... нет я понимаю... А в отпуск?!

Видимо Феликс был действительно педантом и мизантропом. Даже в пьяном виде он не смел подняться в своих мечтах выше должности командира полка...

Солнце между тем село за лес, трава увлажнилась и комары повалили отовсюду кучами. Я поднялся и отбросил ногой пустую бутылку; Феликс, вцепившись в мою руку, поднялся тоже. Мы пошли через кусты шиповника напролом, причем Феликса я пропустил вперед и он глухо вскрикивал, царапаясь об колючки. Он все еще бубнил что-то себе под нос. Я прислушался.

– Двести пятьдесят без надбавок – мало?! А триста не хочешь! Я офицер. Всем молчать!

Наталья встретила нас возле дачи. Она сердито притоптывала ногами и обмахивалась веткой черемухи, отгоняя комаров. Увидев нашу парочку, она отбросила ветку.

– Вы где были?! Блин, Феликс, да ты пьян как свинья!

Феликс попытался вытянуться по стойке смирно. Я подержал его за талию.

– Я же сказала тебе уезжать последним автобусом. Куда я

теперь тебя дену?!

– Пусть ночует у меня, – сказал я. – На моей кровати. А я как-нибудь у Славика перекантуюсь. Да, старина?

– С какой это стати?! – Натали была в бешенстве. – Пусть это он катится к твоему чертовому Славику.

– Наташа, – укоризненно произнес я, – ну причем тут Славик? Он же его даже в глаза не видел.

– А с какой стати... – Наталья задохнулась от досады и свирепо уставилась на беднягу – ну, к-к-казел... на мою голову.

Феликс вяло кивнул и приложил руку ко лбу.

– Слушаюсь, ваше благородие.

Мы с Натальей помогли ему дойти до моей комнаты, и он упал, как сноп, в кровать. Я снял с него ботинки и положил голову на подушку.

– Ну вот и славноенько. Главное, завтра его пораньше разбудить, чтоб дети не видели и – на автобус. На семичасовой.

– Ты останешься у меня! – решительно сказала Наталья, схватив меня за локоть.

– Ты с ума сошла, – я с негодованием освободился – Это уж, извините, разврат... А если дети проснутся?

– Что ты мелешь?!

– Нет, нет и нет. Это твой гость, а я жертвую собой. Пусть спит. А я уж... как-нибудь у Славика, на крылечке...

– Рота, подъем! – вдруг заорал Феликс, задрал голову.

Наталья стукнула его ладошкой по затылку.

– Ты! Орать у меня еще будешь! Сейчас придушу одея-

лом, скотина.

– Придуши, – покорно согласился Фелис и стал жевать кончик подушки.

– Где тут туалет? – спросил он вдруг, переворачиваясь на бок.

Наталья застонала. Я сказал галантно.

– Только не здесь. Туалет рядом. Натали, проводи его, пожалуйста.

Что ей оставалось делать? Гость-то был не мой. Пока Наталья с проклятьями волокла Феликса во двор, я сбежал. Славки в отряде не было. Я направился к Андрею и там, в его комнатке, нашел всех – Славку, Людку, Аллу и Ленку Афонину. Разумеется, на столе стояла бутылка. Разговор шел явно обо мне – все воззрились на меня с ужасом и изумлением. Я не почувствовал себя польщенным; напротив, разозлился.

– Чего уставились то? Что случилось?

– А где этот... Феликс? – пробормотал Славик растерянно.

– Спит. У меня в кровати. А я, между прочим, буду ночевать у тебя.

– А мы думали... – начала было Афонина и запнулась.

– Ну, ну? Что думали? Что я вожу с Феликсом и директором лагеря хороводы вокруг елки?

– Что вы подрались.

– Матерь Божья, – я плюхнулся на кровать и подвинул себе стакан с вишневым напитком. – Только этого мне не до-

ставало. Он пьян, как свинья, и если его кто и поколотит сегодня, так это Наталья.

Я выпил крепкий вишневый ликер и закусил печеньем. В животе вспыхнул приятный огонь. Феликс отодвинулся в прошлое. Я обнял Афонину за талию и прижался пылающей щекой к ее прохладному ароматному плечу.

– Ой, ой, ой, – кокетливо простонала она. – Посмотрите на Иванова. Его потянуло на женщин. Эй! Ручонки-то, ручонки! Уберите, пожалуйста, ручонки... Ну, Миша!

Она кокетливо ударила меня по руке, которая лежала у нее на животе.

– Куда лезешь?!

– Туда! – пробормотал я.

– Я девушка честная. – сказала Ленка, высвобождаясь из моих объятий. – Я отдамся любимому только после свадьбы.

– Так давайте сыграем свадьбу! – воскликнул Андрей и потянулся за бутылкой.

– Три, – уточнил Славик. – Три свадьбы. Нас трое и девчонок трое.

Все загалдели. Идея понравилась. Кто-то предложил отрепетировать. Эта идея еще больше понравилась. Все вскочили.

Ну вы, наверное, помните этот бардак. Сначала женили Славку и Люду. Они встали, взявшись за руки, у двери и Андриуха, возложив зачем-то Славику на голову ладонь, басом произнес.

– Венчается раба Божья Людмила и раб Божий Милослав.

И они поцеловались. Людка вспыхнула, как алый мак, и беспомощно прильнула к Славке, который нежно обнял ее за плечо, а мы возбужденно заплодировали и – честное слово! – нам казалось, что все это всерьез, что, если бы по соседству был ЗАГС, мы все сделали бы это по-настоящему, потому что ужасно было весело и мы любили в эти минуты друг друга, пожалуй.

Потом «женился» Андрей, и теперь Славка, подняв над головой бутылку с пивом, говорил басом:

– Венчается раб божий Бычков и раба Божья Гордейчик.

И надо было видеть испуганно-надменные лица «молодоженов», когда они потянулись губами друг к другу. Их поцелуй был быстрым и осторожным, но глаза у Гордейчик заблестели от волнения, а Андрюха вытер рукавом пот со лба.

Наконец у двери поставили меня и Ленку, мы взялись за руки и когда Славка сказал: «А теперь целуйтесь!», я склонился и поцеловал Ленку в пухлые влажные губы, а она вдруг по-женски грациозно положила мне на затылок горячую ладонь и наш поцелуй стал неприлично долгим и страстным, так что публика завистливо загудела и чьи-то руки нас расцепили.

– Это потом, еще успеете. А сейчас – свадьба!

Свадьба была бурная. На столе появлялись откуда-то все новые и новые бутылки с жигулевским пивом. Пили за здоровье молодых, за университет, за родителей, за потом-

ство... Целовались. Ленка жарко дышала мне в шею, а я гладил ее по теплой коленке, настойчиво забираясь все выше и выше, пока она крепко накрепко не сжимала ноги, прихватывая зубами мочку моего уха.

– Куда? Проход закрыт.

– Я муж твой или кто?

– Муж объелся груш. Разберись сначала со своей Натальей.

В конце концов, я напился, как свинья. Смутно помню, как выбрался на свежий воздух. Помню, что ночь была светлая и тихая; помню, как лил с рычаньем холодную воду из крана на свою грешную голову, как нарвал в мокрой траве каких-то белых душистых цветов и с этим букетом отправился к Нине. Окно в ее комнату было приоткрыто, я распахнул его и запрыгнул животом на подоконник. Нина тихо вскрикнула из постели. Я бросил букет перед собой и повалился на пол с грохотом. Почему-то меня разобрал смех. Я видел над собой испуганное лицо Нины и давился от хохота. Потом рядом с испуганным лицом Нины появилось белое изумленное лицо Ларисы с вытаращенными глазами и это было так смешно, что я чуть не обмочился.

– Безобразие, – говорила голова Ларисы, смешно двигая губами. – Он пьян. Они совсем там потеряли совесть. Я от Гордейчик не ожидала этого, правда! Как так можно?!

– Нужно, – возразил я, вставая на колени и пытаюсь схватить Лариску за коленку. Она ахнула и исчезла, а я забрался

в грязных брюках на кровать.

Нина села на стул. Глаза ее были широко раскрыты. Рот тоже.

– Это тебе, – сказал я, размахисто махнув рукой на разбросанные по полу цветы. – Букет. Бери.

– Спасибо, – сказала Нина, нагибаясь и поднимая один растрепанный цветок.

Я схватил ее за руку и поцеловал в теплые пальцы.

– Давай. – сказал я.

– Что, Миша?

– Давай – повторил я настойчиво, досадуя на то, что она не понимает меня. – Ну же!

Я схватил ее за локти и рывком пересадил на кровать. Она вся дрожала, бедняжка.

– Не бойся, – пробормотал я, привлекая ее к себе. Нина уперлась в мою грудь локтями. Минуту мы боролись молча, наконец, я отпустил ее.

– Я люблю тебя!

– Миша, пожалуйста, уходи, я прошу тебя, уходи, пожалуйста, – шептала она.

– Я никуда не уйду, – сказал я и лег на полу. – Я буду, как верный пес лежать рядом.

И что же вы думаете? Я действительно лег и заснул на полу. Проснулся, правда, довольно скоро и сначала никак не мог понять, почему у меня перед глазами грязный пол и какие-то войлочные тапки. Перевернувшись на спину, я увидел,

что Нина сидит на кровати, обняв колени, закутанные одеялом, и смотрит на меня сочувственно и грустно. Уже рассветело, из распахнутого окна свежо потягивало сквозняком. Меня в лоб больно кусал комар, и второй свирепо зудел где-то рядом. Я с трудом встал на колени и некоторое время соображал, как мне быть. Было очень плохо. Главным образом физически. С моральной точки зрения я себя оценить не мог. Не было ни сил, ни желания. Вообще-то надо было попрощаться и идти домой. Так я думал, стоя на коленях и глядя в пол, на котором валялись увядшие белые цветы. Просто встать и уйти, не попрощавшись. По-английски. Или все-таки нужно было сказать несколько учтивых слов?

– Времени... сколько? – наконец-то придумал я уместную во всех отношениях фразу.

– Пять, – еле слышно сказала Нина.

– И ты... не спишь? – сказал я с укором и боднул головой, что бы проклятый комар оставил меня в покое. Это я сделал напрасно, потому что голова чуть не отвалилась. Пришлось положить ее на кровать. Закрытые глаза пульсировали от боли. Я почувствовал, как нежные пальцы прикоснулись к моим волосам, пошевелили их. Это было так приятно, что я заурчал. Пальцы гладили меня, находя боль и растирая ее.

– Болит? – спросила Нина с жалостью.

– Болит.

– Бедный, бедный дурачок, – сказала она. – Зачем ты так пьешь, Миша?

– Я больше не буду, – сказал я, поднимая голову. – А почему ты не пьешь, Нин?

– Зачем?

– Как это зачем? Что бы запьянеть!

– Мне и так хорошо. Я хочу просто жить...

– Ну да. Жить. А жить надо так – помнишь? – чтобы не было мучительно больно. И страшно. Вот я и пью. Ты попробуй, тебе тоже понравится. Только начинай прямо с портвейна... Сухое не поможет...

– Какой бред, – вздохнула Нина.

Ее прохладная ладонь просто творила чудеса: голова не кружилась и болела меньше.

– Бред – это когда веришь, что Ленин и в гробу живет всех живых...

Нина сжала пальцами мои волосы, но лишь на мгновение, а потом опять отпустила и продолжила гладить.

– Без веры невозможно жить, – то ли утвердительно, то ли вопросительно сказала она. – И тебе нужна вера.

– Нужна, – согласился я. – Я верю... Правда... Только забыл во что... Ты руку не убирай, пожалуйста, иначе я сдохну. Обидно сдохнуть просто так... Без подвига. Ленин не одобрит... – я икнул. – Как ты думаешь, Ленин видит нас сейчас?

– Перестань.

– Нет, правда. Я не хотел его обидеть. Дедушка Ленин! – я возвысил голос. – Прости меня грешного раба твоего!

– Миша, перестань, я сказала! – Нина сильно сдавила мне

шею – Тоже мне... шут гороховый. Говорят, к Наталье Гордейчук кто-то приехал?

– Жених, – буркнул я.

– Жених? У Натальи есть жених? Не знала...

– Еще какой... Артиллерист. Спинку еще, пожалуйста...

да, да, вот так, хорошо...

Нинина рука бодро заскользила по моей спине.

– И что же... у них серьезно?

– Осенью собирались в ЗАГС

– Собирались? И что же, раздумали?

– Нет. Не знаю... Да какая из Гордейчук жена? Это же умора... Она должна принадлежать всем! Ой, больно! Ты что?

– Извини. Случайно. Ногти длинные... Ты и так весь... исцарапан...

Она отодвинулась от меня, и я почувствовал, как боль вновь заполняет затылок.

– Тебе пора, – сказала она. – Отряд то найдешь свой?

– А еще?

– В следующий раз.

Я поднялся со стоном на ноги. Схватился за подоконник.

Подождал, пока тьма отхлынула от глаз.

– О, мой Бог! Плохо-то как...

– Бросай пить, – отозвалась Нина.

– Вот коммунизм наступит – сразу и брошу. Помогите.

Она открыла дверь, взяла меня под руку. На крыльце я

закурил.

– Извини. Я, кажется, наговорил лишнего.

– Жаль, – сказала она.

Я попытался отгадать, что она имела в виду, но не смог – более актуальный вопрос мучил меня: буду я блевать сейчас или нет. В конце концов я решил, что буду. И пошел прочь.

...Славка еще не спал. Из раскрытого окна его комнаты клубами выкатывался голубой дым. Славка курил, сидя потурецки на кровати в брюках. Глаза его были шальными и мутными, лицо бледным.

– Ты? – спросил он равнодушно. – Где был?

– Гулял.

– Понятно... Мы тоже погуляли... чертям стало тошно. Из соседнего отряда Надька прибежала, кричит: «Вы что там, очумели что ли? У меня дети проснулись! Безобразия! Позор! Сейчас милицию вызову!» Мы ей: «Какие дети! Нака лучше выпей дура, да заткнись». Налили стакан... Потом еще. Вроде успокоилась. Повеселела. Даже петь пыталась. Что-то про БАМ и комсомол... Жеребец приходил. Довольный, как всегда. Ему тоже налили. На озеро всех звал... Люд-ка плачет, – вдруг закончил он.

– Чего вдруг?

– Я засунул руку ей в трусы.

– Хорошо хоть не в кошелек. Зачем ты это сделал?

– Я влюблен. Ты забыл?

– Прочитал бы ей стихотворение. Блока...

– Прочитал, – угрюмо возразил Славка.

– Ну и?

– Не дает.

– Какое стихотворение читал?

– «Мы встречались с тобой на закате,/Ты веслом рассекала залив./Я любил твое белое платье/Утонченность мечты разлюбив», – монотонно, как робот продекламировал Славка.

– И не дала?

– Не дала... Каналья.

– Ну, тогда я не знаю, что им нужно...

Мы помолчали, глядя, как восходящее солнце за окном прожигает золотыми лучами темную густую листву старых осин. Утренний ветерок размазал по траве серебристый туман, скопившийся ночью в ложбине. В накуренную комнату пахло ароматной сыростью.

Славик истерически хохотнул.

– Нет, ну это была песня. Я засунул ей руку... туда, а она и говорит:

«А ты ее вымыл?» А я не помню, мыл я ее или нет. Ну, утром-то, разумеется, мыл. Говорю: «Хочешь, сбегая, помою?» А она обиделась. Я же говорил тебе, она любит обижаться.

– И заплакала?

– Не-ет. Заплакала она потом. Это когда я сказал, что женюсь только на девушке с приданным в двадцать пять тысяч.

Чтоб не думать о хлебе насущном и заниматься творчеством.
Не знаю, что на меня нашло...

– Дятел ты.

– Не знаю, не знаю... А Андрюха стал писать стихи. На салфетке. Он мне прочел. Ты знаешь – ничего себе. Я запомнил строки... подожди... ага, вот: «А потом ты выйдешь в сад,/Там, где кошки ссат,/ И увидишь пруд, там, где рыбы срут,/И поймешь, что жизнь – ад...» Ну, в общем, и так далее в том же духе. Мне понравилось. А потом все пошли на озеро купаться... Разделись д гола и – в воду!

Последние слова Славка сказал совсем как-то упаднически. Словно все утонули.

– Старый, я у тебя перекантуюсь сегодня, ты не против?

Он посмотрел на меня отчужденно и произнес.

– Домой хочу. Книг нет... Душно.

Я скинул ботинки, свернулся калачиком.

Славка еще что-то говорил. Я сначала слушал, потом стал кимарить и, наконец, взмолился.

– Старик, я отъезжаю. Два часа до подъема, извини.

Последнее, что я помню, уткнувшись носом в подушку, Славка что-то спрашивал о Сидорчук.

Феликс уехал ранним утром, когда пионеры еще спали. Я столкнулся с ним на крыльце. Вид у него был ужасный. Он держался за стойку веранды, как за мачту качающегося корабля, и с тоской смотрел на дорогу, которую ему следова-

ло преодолеть. Покрасневшие глаза его слезились, рот спекся намертво. Увидев меня, он не шелохнулся и только моргнул, деликатно давая понять, что заметил мое присутствие. Я смотрел на него почти с любовью.

– Приветствую тебя, мой юный друг. Ты жив, надеюсь?

Вместо ответа Феликс прижался лбом к деревянному столбу. Видимо, столб был не очень холоден, потому что спустя секунду Феликс поднял голову и посмотрел на него с осуждением.

– Ага, еще один, – услышал я голос Натальи.

Она вышла на крыльцо в ночной рубашке, растрепанная, с алым ртом, с темными кругами под глазами, из которых один к тому же был подмалеван какой-то голубой краской. В руках у нее была косметичка.

– Ну что красавцы, плохо вам? – с наслаждением спросила Наталья. – Так вам и надо. Я тебе, Феликс, уже все сказала...

Феликс кивнул. Видно было, что сказала ему Наталья много обидных слов, но они толпились где-то еще в передней его измученного сознания, дожидаясь, когда он протрезвеет.

– А с тобой, Иванов, я буду иметь сегодня очень серьезный разговор.

Ее суровый тон стал чуточку интимнее. Я засопел, пытаюсь расчувствоваться, и услышал, что Феликс тоже сопит.

– Мне это нравится: один где-то нализался, как свинья, другой пропал непонятно куда – я что вам тут, красная шапочка, в натуре, одна на отряде вертеться?! Хорошо устрои-

лись, уроды. Начальник лагеря вчера вызывает: «А что у вас с Михаилом дети какие-то грустные?» А? Дети ему, старому мудаку, не нравятся! Я говорю: «Они не грустные – они сосредоточенные. К олимпиаде готовятся». А он мне: «Да? А чего это тогда вчера Сигунова плакала в беседке навзрыд?» Я говорю: «А кто ж его знает? Может, влюбилась, вот и плачет». Я что, на дуру похожа?! – вдруг вскрикнула она, так что мы с Феликсом вздрогнули. – Феликс, меня абсолютно не волнует, как ты доколдыбаешь до остановки! Если через пять минут не исчезнешь отсюда, то исчезнешь из моей жизни навсегда. Понял, артиллерист хренов? Кру-угом! и шагом марш!

В этот момент я отчетливо представил себе, каким Наталья будет следователем прокуратуры.

Феликс оттолкнулся от столба и шагнул прямой ногой с крыльца. Его кидало со стороны в сторону, как раненого, голова моталась. Мне стало жаль его до слез. Наталья тоже провожала его взглядом. Хорошо, что Феликс его не видел.

– Покурить есть? – спросила Наталья потухшим голосом, когда нелепая сутулая фигура исчезла за деревьями.

Я достал изжеванную пачку БТ.

– Как он меня заколебал, – пробормотала Наталья, вытаскивая сигарету. – Ноет и ноет, долбит и долбит, как дятел... Посреди ночи куда-то поперся в одних трусах, еле успела его затащить назад. Что-то блял про Дальний Восток, про какие то северные надбавки... Свадьбу предлагал справить в

«Англетере»! Я говорю: «Ты хоть на кафе «Снежинка» денег наскребешь?!» Всю жизнь мечтала за военного. А ты тоже хорош! – голос ее опять накалился. – «Я к Славику, я к Славику»! А мне к кому?! А мне что прикажешь с этим...

У меня не было никакого желания препираться. Через час мы разбудили своих пионеров. Я вышел с ними на полянку, где мы занимались утренней зарядкой, расставил в полукруг и приказал приседать «кто сколько сможет». Сам сел под куст акации. Дети приседали лениво, то и дело недовольно оглядываясь на меня. Я из последних сил делал вид, что контролирую ситуацию, потом махнул рукой, вяло сказал «хватит» и, упав лицом в прохладную траву, на десять минут провалился в спасительный сон.

В это утро директор собрал расширенное совещание пионервожатых, на котором присутствовала вся наша банда. Среди всех прочих розовощеких и радостно-оживленных коллег мы выделялись как члены одной секты: лица наши были одутловаты, глаза мутны и скорбны, движения вялы и экономны. Говорили мы тихими голосами и понимали что-то, непонятное другим. Это было заметно. Эразм догадывался, что могло быть причиной, но у него не было доказательств – эту ночь он был в Ленинграде.

– Итак, – глухо начал директор, когда все расселись по своим местам и перестали шуршать, – скоро конец смены. Первой смены! – добавил он зачем-то громко, словно в этой оговорке и крылся главный смысл его речи. Повисло молча-

ние. Директора заклинило. Он вертел в пальцах карандаш и, наконец, с хрустом разломал его.

– Что это значит? – спросил он, брезгливо рассматривая половинки. – Это значит, что мы должны особенно внимательно и усердно относиться к своим обязанностям. А это в свою очередь значит, что мы должны достойно нести знамя советской педагогики. Меня крайне не устраивает атмосфера, которая сложилась в нашем коллективе в последние дни. Разгильдяйство, безответственность, наплевательское отношение к порученным обязанностям, лень, равнодушие, цинизм...

Он замолчал, вспоминая слова из этого семантического ряда.

– Скука, – басом подсказал физрук с галерки.

Скука, – неуверенно подтвердил директор и раздраженно бросил половинки карандашей на стол. – Причем тут скука?

– Футбольный турнир провести надо, – пробасил Жеребец, – я уже две недели об одном говорю, а толку?

– Танцы... – неуверенно встрял девичий голос.

– Дискотека!

– Кина побольше!

– Пионерский костер!

Заговорили все. Даже я громко сказал: «Вот именно!» и победно посмотрел на Андрея, который поспешно опустил глаза и пробормотал в полголоса: «Матка Боска!».

Эразм, насмешливо кивая, дал нам выговориться вволю,

потом встал, с грохотом отодвинув стул, и толкнул настоящую речь. Не думаю, что смогу передать ее дух и характер. Это была пафосная речь среднего советского начальника конца 70-х годов, который настойчиво стучится в высшую партийную лигу. К несчастью, при своем посредственном интеллекте, Эразм обладал высшим педагогическим образованием. Это мешало ему усвоить мертвую и достаточно безвредную партийную демагогию; он пытался оживить ее собственными интимными идеологическими переживаниями: уснуть под нее было невозможно, слушать невыносимо. В конце концов в душе рождалось какое-то смутное истерическое чувство, которое при желании можно было выдать за пафосный подъем.

Он говорил про долг, честь и совесть, вспомнил Ленина и собственное трудное детство, «когда вся страна лечила послевоенные раны», и все это долго-предолго, пока все окончательно не уверовали, что и кина не надо, и черт ты с ними, с танцами, и без футбольного турнира можно обойтись – лишь бы не было войны. Возможно, в наших измученных лицах он видел признаки глубокого потрясения? Усталый Андрияша простонал мне в ухо:

– Я ссать хочу.

Его услышал Жеребец – он гоготнул, и гоготнул как-то глумливо, словно громко рыгнул. Это вызвало веселье в рядах. Эразм сморщился от отчаянья и досады: как и многие педагоги, он искренне верил в дар своего красноречия...

– Итак, – устало и скорбно проговорил он. – Что нам предстоит сделать? Первое...

Я окончательно перестал его слушать, погружившись в мрачные раздумья, и очнулся от толчка локтем Андрея.

– Иванов, вы спите? – раздраженный Эразм сверлил меня черными глазами. – О чем я только что говорил?

– Все понятно, – промямлил я. – Мы победим.

– Кого? – вкрадчиво спросил Эразм.

– Этот... империализм и его согля... согля... датаев.

Краем глаза я увидел множество сочувственно улыбающихся лиц и понял, что влип во что-то.

– Вот и отлично, – ледяным голосом сказал директор. – В таком случае вы поступаете в распоряжение Социалидзе – по крайней мере на ближайшие два-три дня... Не сомневаюсь, что вместе вы окончательно победите империализм и его соглядатаев. Или я ошибаюсь?

Последние слова были едва слышны из-за всеобщего смеха

– *Спектакль!* – воскликнул Андрей, хлопнув себя ладонями по коленям. – *Помню! Спектакль! Что-то про гражданскую войну... или про революцию.*

– *Про комсомол,* – сказал Славик, улыбаясь. – *Я тоже помню: спектакль в двух частях. Про комсомол 20-х годов. Вам с Нинкой поручили написать сценарий. А мы с Андрюхой должны были играть в нем главные роли. А играть его*

мы должны были в родительский день, если не ошибаюсь.

Я неспеша налил себе чаю из термоса, с удовольствием глотнул...

– Именно, именно, мои юные друзья! Спектакль. Это были мои первые пробы на драматическом поприще

Нам с Ниной дали четыре дня – четыре дня на всю пьесу! У меня, как я уже говорил, были взяты с собой из дома толстые тетрадки. Для творчества. Онигодились.

Работали мы с Ниной главным образом в библиотеке – да, да, была в нашем лагере и библиотека: две или три скрипучих комнатки с книжными шкафами, в которых попеременно лежали и труды по марксизму-ленинизму и детские сказки; и с густой пылью, которая днем клубилась, словно дым в толстых и горячих солнечных лучах и забивала нос и горло. Днем здесь хозяйничала баба Люба – толстая седая женщина с одышкой, с крупным носом, крупной бородавкой на щеке и густым прокуренным басом. Вечером библиотека была наша – у Нины был собственный ключ, который ей выдал под расписку сам директор.

Надо ли говорить, что Ковальчук была в бешенстве? Надо ли говорить, что я был счастлив?

После ужина я забирал свою толстую тетрадь, авторучку и, стараясь не отвечать на ядовитые насмешки Натали, уходил к бледно-голубому домику возле столовой, где размещалась библиотека. Нина ждала меня там. Мы отодвигали стол

бабы Любы от окна, задерживали белые занавески, включали настольную лампу и склонялись над моей тетрадкой, стараясь сблизиться и в тоже время стесняясь этого. Я до сих пор помню блаженное томление, когда ее теплое плечо прислонилось к моему, и в этом прикосновении было столько интимной доверчивости, что я чувствовал себя рыцарем, охраняющим ее честь; помню как мысли вмиг выскакивали из моей головы, когда ее душистые волосы щекотали мою щеку... Помню, как я отгадывал по ее легкому, ритмичному дыханию возле своего уха, как она отвечает на мои невольные попытки прижаться еще теснее, еще откровеннее к ее плечу, к ее ноге... Волосы ее пахли цветочным мылом и французскими духами, но особенная прелесть была в запахе ее опаленной загаром золотистой кожи, которую мне хотелось лизнуть или поцеловать.

Сидели мы допоздна, до полуночи, сидели бы и дольше, но приходила злая Наталья, колотила кулаком в окна и громко ругалась.

– Сидят, голуби... А зачем окна закрыты? Зачем двери заперты?! Иванов, блядь, я что всю ночь тебя ждать буду?! Что вы там сочиняете... мать вашу? «Войну и мир»?!

Нина бледнела, торопливо собирала бумаги; я отвечал Наталье ненатуральным голосом:

– Натали, все уже, мы закончили. Второй акт...

– Какой еще на хрен акт? Акт будет сейчас – продолжительный и с бурным оргазмом. Выходи, кому говорят!

Нина физиологически не выносила грубости, особенно мата. Она краснела и страдала до слез. Я выходил на крыльцо с отчаянно перекошенным лицом, но, увидев грозную Сидорчук с пылающими щеками, сверкающими глазами, да еще со скакалкой в руке – робел и начинал заискивать.

– Ну, зачем ты так? Мы же работаем.

– Чем вы там работаете?

– Мозгами.

– Теперь это так называется?

Нина выходила, низко склонив голову. Наталья сверлила ее взглядом, сложив руки за спиной, фыркала.

– Хороши... твою мать. Дайте хоть почитать, что вы там нахреначили.

А «нахреначили» мы за три вечера какую-то невероятную муть про первых пионеров 20-х годов. Был там пионер Петров, который записался в пионеры тайно, потому что его отец, бородатый и свирепый кулак Тимофей, ненавидел пионерию и строго-настрога наказал своим сыновьям всячески вредить советской власти. Вредили только старшие, кажется, одного из них звали Матрусь – это имя я придумал, когда мы с Ниной завязли в революционном дерьме и нужен был хоть какой-нибудь творческий прорыв. Как это ни странно, дурацкое имя действительно ожило и потащило за собой сюжетную линию в правильном направлении. Этот Матрусь, кажется, отравил колхозного бычка... или корову? Точно не помню. Помню, что он отравил какую-то колхозную живо-

тину и вообще гад был редкий. Отравил он животное толченым стеклом, и теленок, конечно, подыхал в страшных муках. У него даже слезы капали из глаз, когда старый седой фельдшер его пытался спасти. Это уже я сочинял, Нина только умоляла меня недолго мучить животное, а из меня так и пер критический реализм. Насколько я помню, Матрусь хотел еще сломать трактор, но трактора в колхозе еще не было, и тогда он сломал сеялку. Короче, ему все равно было, что ломать, главное, чтобы всем было хреново. Петров прознал про это и настучал деревенским комсомольцам. Они обрадовались, забыли, что свидетеля нужно беречь, вот Петрова ночью темной братья и того... порешили... Мрачноватая получалась вещьца, а главное непонятно было в чем мораль: теленок сдох, Петрова зарезали, а ничего путного из всего этого не вышло. Не было в этой вещи зарева светлого завтра. Опять же непонятно было, кто сыграет теленка...

– Остынь, – прервал меня Андрей, – что ты с этим теленком.

– Прошу прощения... Отвлекся. Однажды стемнело рано. Нам пришлось включить настольную лампу. Вдруг за окном сверкнуло и прогрохотало. Мы быстро убрались, вышли на крыльцо и невольно прижались друг к другу. Небо было затянуто темно-серой быстро движущейся мглой; прохладный ветер тормозил заросли акации около веранды и раскачи-

вал лес, который глухо и неприветливо рокотал невдалеке. Запахло озерной водой и пылью. Ночь сгущалась, выдавливая из тьмы тусклые свечения зажженных окон. Мимо нас пробежал с топотом пионер, накрывший голову газетой. Тревожно звякнуло где-то стекло. Отчетливо и страшно прозвучали из соседнего помещения столовой демонические звуки песни «Дым над водой» группы Deep Purple и тут же оборвались, оставив ощущение надвигающейся беды. Мы заморожено молчали, глядя в колышущийся мрак. Дождь обрушился сразу: крупный и густой, грубо втолкнув на веранду прохладу и колючую сырость. Это была гроза, первая за лето. И под этим дождем мы с Ниной первый раз поцеловались. Губы у нее были горячие, резиново напряженные; глаза крепко зажмурены. Я поцеловал ее в мокрые щеки, в теплый нос, в дрогнувшие ресницы и невольно залюбовался ее беспомощностью, покорностью, испуганным ожиданием. Помню, как барабанили по перилам капли дождя, обсыпая нас колкой влажной пылью, как шальной ветер кидал мне в спину крупные пригоршни холодных брызг... Вдруг вспыхнуло и грохнуло так сильно, что мы с Викторией невольно отпрянули к дверям. Лампочка на веранде вспыхнула и погасла с гулким хлопком. Я невольно засмеялся, впрочем, негромко и слегка испуганно.

– Ну вот, и конец света настал... Кажется, отмаялись. Жаль, до коммунизма осталось-то – рукой подать.... А, Нин? Не суждено нам будет закончить свой гениальный труд

на благо человечества. А я-то уже мечтал о постановке во МХАТе. Чего молчишь?

Нина робко взяла меня за руку, посмотрела на меня непонимающе. «О чем ты? – читалось в ее широко раскрытых глазах. – Какой МХАТ, какой труд?»

– Понятно, – сказал я. – Ты не замерзла?

Она замотала головой.

– Молнию не боишься? Нет? А я с детства боюсь. Помню, в деревне гроза была – страшнющая! Так я с сестренкой под кровать залез от страха. Бабка потом насилу вытащила...

– Миша, – вдруг спросила Нина, – я не умею целоваться? Да? Плохо целуюсь?

Я закашлялся и полез за сигаретами. Они закончились. Нина ждала.

– Отлично целуешься, – грубовато соврал я. – Лучше всех.

– Лучше всех, всех, всех?

– Угу.

– А сколько же у тебя было девушек?

– Не помню... Ты вторая.

– А первая – кто?

– Девочка из детского сада. Мы с ней в один горшок ходили и как-то незаметно влюбились друг в друга.

– А Сидорчук хорошо целуется?

Сверкнуло опять и ударило, я поежился. Нина прислонилась спиной к дверям, как распятая; вывернув голову набок, смотрела на меня, не мигая.

– Ты брось это, – сказал я фальшиво-строго, – Сидорчук тут не при чем.

– Как это не причем?

Я задумался.

– Она самка. Понимаешь? Я не хочу сказать про нее ничего обидного, но она... самка. Да. Точнее не могу сказать.

– А я?

– Ты? Ты совсем другое дело, – горячо подхватил я. – Ты женщина! Ты... с тобой все иначе. С тобой и поговорить можно и все такое... Ты – одухотворенная. В смысле – духовный человек. Особь! Личность! Ну, ты поняла, короче... Знаешь что?! Я вот сейчас подумал и удивился. Ведь я даже думаю о тебе другим участком головного мозга, чем о Сидорчук, представляешь??

– Правда? – неприязненно спросила она.

– Ну да...

– И каким же участком ты думаешь о ней?

– Ну, это... низменным, – неуверенно сказал я и подумал, что это двусмысленно. – Который за рефлексы отвечает, и все такое...

– А обо мне? Высоким?

– Ну, да....

– Который за литературу отвечает? За философию?

– Ну, да... наверное.

– Понятно. Блестяще! Просто изумительно! Я тронута до глубины души!

– Нина, послушай. Я же в смысле...

– В смысле, а я хочу, – зло сказала она – что бы обо мне тоже низменным!

– Ну-у-у...

– Что – ну-у-у? К черту твою философию! К черту литературу! Я – женщина, понятно? Тоже мне, нашел специализацию: с одной про литературу, с другой...

Я покраснел. Опять полез за сигаретами, опять вспомнил, что они кончились, ругнулся в полголоса.

– Ерунда! Ты не понимаешь. Это невозможно.

– А с ней можно?!

– Да, пойми ты! Это же... Сидорчук! Одно слово. Ты что думаешь, мы с ней о поэзии говорим? Или о музыке? У нее же одно только на уме! Она же только одно и может.... Кошка похотливая...

Я взглянул на Нину и понял, что и вовсе ушел не туда: в глазах ее блестели слезы.

– Я просто хотел сказать...

– Не надо, пожалуйста, не говори больше ничего, и так все ясно! – почти крикнула она и сбежала с крыльца. Я бросился за ней, догнал, пытаюсь схватить ее за руку.

– Нина, Нинуля, ну перестань же!

– Да как же ты не понимаешь! – она остановилась и топнула ногой – Как все это мерзко, мерзко, мерзко! Мы прячемся в этой дурацкой библиотеке, а потом ты идешь к ней, словно она твоя жена, а я... а я... как последняя дура иду

к себе и не знаю... Кто я? Кто ты? Зачем все это? Как ты там... с ней... – она разрыдалась.

Я обнял ее. Дождь быстро остудил нас. Внезапно Нина оттолкнулась от меня, сказала глухо.

– Мне пора. Холодно.

Я проводил ее до отряда. По дороге мы не сказали друг другу ни слова. На крыльце она повернулась ко мне, не поднимая головы.

– Прости, Миша, – сказала она дрогнувшим, потухшим голосом. – Просто... Вчера встретила ее у штаба, а она дорогу заградила, руки в бока и говорит нагло: «Ну, и сколько вы еще будете писать свою... пьесу?» Смотри, как бы потом не пришлось объяснительные писать... куда следует... Я тебя, говорит, жучка, сразу поняла, тихоня этакая... И знаешь, все это с матом. Это было так гадко, гадко, гадко! Я не хотела тебе говорить, но это невозможно! Я очень устала за эти дни...

Я стоял, как камень неподвижный. Она подняла на меня глаза и я увидел в них огонь. Недобрый огонь.

– Ты должен объясниться с нею, – сказала она твердо. – Так больше быть не может. Я так больше не могу! И не хочу! И не буду!

Гром прогрехотал где-то вдаль, негромко... Дождь кончился. Все было сказано... Кажется, я поцеловал ей руку... и нырнул в ночь, как драматический актер.

О том, чтобы вернуться домой, не было и речи. В беседке

под крышей, в укромном местечке, я нашел сигареты и спички. Закурил и стал ходить взад-вперед по скрипящей гаревой дорожке. Смятение в душе было полное. Я вдруг представил себя женатым человеком. Сначала Наташкиным мужем. Выходило так: сумрачный кабинет прокурора области, на подоконнике – фикус, на стене – порывшаяся фотография молодого лейтенанта с лихо взбитым русым чубом и заломленной на ухо фуражке, за столом, покрытым зеленым сукном сидит седой, крепко сбитый мужчина с умным усталым лицом, с орденом Красного Знамени на кителе, с тлеющей папиросой в руках. Он смотрит на меня испытывающее долго, насмешливо, проницательно. Он видел-перевидел на своем веку сотни хитрых преступников и вот перед ним сидит новый противник, покусившийся на самое святое – на его дочь! Да еще как сидит! Нога за ногу. Взгляд умных глаз ясен и смел, легкая ирония прячется в улыбке. Наглецом не назовешь, хитрованом тоже. Отчего же тревога в отцовском сердце? «Значит, надумали, – говорит, наконец, прокурор с усмешкой, – быстро у вас теперь это происходит, я за своей Ньюрой три года ухаживал. Ну, а каковы же ваши взгляды на жизнь, позвольте спросить, молодой человек? Чем думаете заняться? Или – конкретизирую вопрос – чем собираетесь зарабатывать на жизнь?» Я улыбаюсь. Я – гений. Это и есть ответ на все вопросы. Папаня играет желваками, а сделать ничего не может. Наташка загрызет его, если он будет артачиться. Она сидит у меня за спиной и делает угрожающие

знаки отцу. Хорошая была сцена, я многократно отсмотрел ее.

Потом я представил себя мужем Нины. Тоже был кабинет, только увешанный портретами бородатых ученых и мещанского фикуса на подоконнике не было. За столом восседал крупный седой профессор и тоже изучал меня пытливым взглядом. Он тоже почему-то не доверял мне. И тоже спрашивал, чем я собираюсь заниматься. И я отвечал ему с улыбкой, что жизнь покажет, а вообще-то – ничем. Еще, мол, не нашел себя. Да и искать не собираюсь. А на самом деле я уже написал книгу, и она лежала в издательстве, и все говорили, что книга – гениальная. То есть денег впереди было немерено! Нет бы все это рассказать старому ослу, но ведь надо знать меня! Пусть догадается!

Потом я вспомнил, как целовался с Ниной, и хмыкнул. Потом я мысленно стал целовать ее грубо и нетерпеливо, и она слабо сопротивлялась и вскрикивала, а я возбуждился и вдруг понял, что целую уже давно Наташку, которая привычно вздрагивала от наслаждения, цепко и больно хватала меня за уши и стонала. Я отпихнул ее и полез за влажным куревом в карман.

Какие же они были разные! Они даже пахли по-разному. Нина пахла луговыми цветами, мятой и нежным, теплым ароматом волос. Натали пахла крепкими духами и табачным дымом, и еще этим острым бесстыжим женским запахом, который вместе со страстью зарождался у нее между ног и ко-

торый сначала пугал меня, отталкивал и был даже неприятен, а потом стал моим наваждением, моим наркотиком, моей постыдной тайной.

Наконец я выбросил окурок, решительно подтянул брюки и зашагал к своему отряду. Тихонько пробрался я на крыльцо своего барака и, стараясь не скрипеть половицами, подошел к Наташкиной двери. Она была не заперта. Я осторожно приоткрыл ее и увидел пустую не застеленную постель. «Ищет меня», – подумал я. В тишине слышно было только, как сопят в комнатах-спальнях пионерские носы.

Я накинул куртку и вышел на крыльцо. Решил, что найду Наталью возле библиотеки. Но ее там не оказалось. Я несколько раз обошел вокруг дома, высыпав себе в кустах акации на плечи целый дождь, но обнаружил только серого кота, который страшно сверкнул на меня из травы фосфорическими глазами и метнулся, задрвав хвост, в траву. Я забрался в большую круглую беседку, которая стояла на самом вершине холма, и огляделся. Подо мною, скрытое рваной мглой, лежало холодное, карельское озеро. За ним – лес. Темными своими контурами он напоминал высокие горы. Между озером и лесом, на холме, и уютился весь наш лагерь. Два десятка деревянных одноэтажных домиков, разделенных песчаной дорогой. Центральный плац, вокруг которого было разбито с десятков клумб, неподалеку темным куполом возвышалось самое крупное строение столовой. Передо мной смутно виднелась на фоне неба высокая деревянная мачта: каждое

утро под пионерский салют всех отрядов и под барабанную дробь на ней вздымался алый флаг с серпом и молотом.

Знаете ли вы, господа, что такое карельская летняя ночь? О, вы не знаете карельской ночи! На небе ни звездочки, да и неба нет вовсе, а есть серая влажная муть, которую волочет куда-то ветер, упираясь в кусты и деревья. Шумит лес, шумит дождь... Очертания мокрых домов, деревьев призрачны. Вот, кажется, уже и рассвело совсем, но – нет, это всего лишь полная луна просияла сквозь тонкое дымящееся облако и вновь исчезла, и вдруг еще гуще стали тени, еще мрачней зароптал всклокоченный лес, и далекий гром глухо про-рокотал где-то за озером. Сыро, прохладно, неудобно... Как не вспомнить тут нежную украинскую ночь, теплую и тихую, с бездонно-черным небом и ярким месяцем, который зали-вает лес ровным серебряным сиянием? Как не вспомнить старика Гоголя, тоскующего по щедрому югу?

Я сидел в беседке с каким-то мистически-пафосным подъемом в душе. Словно во мне нарождалось какое-то окончательное понимание мира. Словно я становился очень большим и главным в этом мире. Лагерь спал. Десятки дет-ских носиков сопели в своих теплых кроватках; под крыша-ми бараков в десятках детских сновидений разыгрывались нешуточные драмы. Эта мысль (отчетливо помню) чрезвы-чайно поразила меня: поразительно было вдруг понять и по-чувствовать, что рядом с видимым сырым, сумеречным и прохладным миром, который я видел глазами, слышал уша-

ми, ощущал своей кожей и нюхал носом, существует невидимый параллельный мир, полный страстей и драматического движения. Этот мир загадочным образом осуществлялся вокруг меня через множество спящих тел. Смешно, но на миг мне даже показалось, что я вижу мерцающее свечение над лагерем, свечение энергии, подобное северному сиянию. Это были сны.

И в эту минуту я услышал вновь, как из темной бездны внизу холма пробились вдруг страшные и тяжелые, как свинцовые слитки, аккорды «Дыма над водой». У меня мурашки побежали по телу. Звуки эти пугающе нарастали, крепили, выстраиваясь в могучий четкий ряд, словно чья-то неумолимая рука забивала гвозди в гроб мироздания, и, наконец, достигнув вершины, распространились рыдающим и страстным голосом Гиллана, который, подобно древнему языческому шаману, в припадке безумного транса яростно швырял хриплые проклятья в черную бездну! Тысячу раз я слушал эту песню, но никогда, никогда она не потрясла меня так, как в эту ночь. Все было созвучно в эту минуту. И суровая северная стихия в первобытном своем величии, и гениальная музыкальная аранжировка к ней, и трагический горький пафос, нарождавшийся в моей бунтующей душе.

Я высунулся из беседки. Музыка стихла. И тут невдалеке в окне маленькой желтой дачки замерцал тусклый свет. Я вышел из беседки и осторожно пробрался к домику, пытаемый каким-то жгучим криминальным любопытством. Окно

было наглухо закрыто и занавешено белыми занавесками. За стеклом тихо и невнятно бубнили голоса. Я обнаружил прорезь в занавесках, заглянул и окоченел. Комната была освещена зыбким пламенем свечи, которая стояла на тумбочке. Возле тумбочки стояла кровать. На кровати, прикрытая до живота простыней, с сигаретой во рту лежала Наташа Сидорчук, а директор лагеря, стоя перед ней на коленях, в трусах и в майке, целовал ее в грудь...

– Что ты почувствовал? – спросил Слава после долгого молчания.

– Что я почувствовал? – переспросил я задумчиво. – Я почувствовал необыкновенный прилив чувств. Даже окно сразу запотело, в которое я пялился вытаращенными глазами, роняя слюни с растопыренных губ.

Да, господа, это был миг озарения, когда вещество, из которого сделан ваш мозг, становится другим и кровь в жилах приобретает новые химические свойства. Сразу и навсегда. Я отшатнулся от окна уже другим человеком, чем был минуту назад. Это было волшебное преобразование и мучительное...

Боюсь, что выглядел я в эту минуту плохо. Помню отчетливо, что мне в рот с неба упала крупная холодная капля дождя, когда я бессмысленно тарасился в небо. Рот у меня так не закрывался, словно я проветривал через него весь адский

жар, который полыхал у меня внутри. Помню, я шел и шел механически, как робот, прямо через мокрые, колючие кусты, через высокую траву, которая оставляла на моих мокрых джинсах белые разводы лепестков, через какие-то бетонные поребрики и мусорные кучи в черную, бессмысленную пустоту, пока не очутился перед дверью Славика. Мой друг открыл дверь в семейных трусах и попятился назад, когда увидел меня.

– Ты? – спросил он.

– Не знаю, – сказал я и упал на стул. – Кажется да.

Славка протянул сигареты и тоже упал на кровать, закачавшись.

– Сидорчук?

– Да.

– Выгнала?!

Я затянулся до упора и, выталкивая дым нервными толчками, отрывисто прогундосил в потолок.

– Спит. С директором. В кровати.

– Что с директором? Он в кровати? Заболел что ли? – не понял Славик.

– Наталия Сидорчук, – механическим голосом, словно зачитывая официальное траурное сообщение, произнес я, – вступила в половую связь с директором пионерского лагеря «Юность» Эразмом Роттердамовичем Мудищевым. Только что. В кровати. Я сам это виделэ

И, скосив на друга налитые кровью глаза, закончил ярост-

НЫМ ВОПРОСОМ:

– Понятно?!

– В кровати? – растерянно переспросил бедный Славка.

– Именно в кровати, а тебе где больше нравится – на полу?! – рывкнул я.

До Славки, наконец, дошло и он повалился на спину.

– ...Твою мать! С директором?! Сидорчук? С этим козлом?!

– Это еще неизвестно, кто из нас козел.

В комнатушку вошла недовольная Людка в халате.

– Чего орете? Опять хотите неприятностей?

– Сидорчук трахается с директором лагеря, – торжественно, хотя и растерянно сообщил Славка и подвинулся, когда Людка, как подкошенная, рухнула на кровать рядом с ним. Мы задымили втроем, обмениваясь тревожными импульсами красных огоньков в темноте в полном молчании.

– Вот это да, – наконец резюмировал Славка. – Ну и ну... Наташка то, а Людк?

– Что?

– Ты смогла бы так?

Людка ударила его по спине ладошкой.

– Идиот! Заткнись.

– Что же теперь будет? – спросил Славка вполне резонно. – Майкл? Что будешь делать?

– Вызову директора на дуэль, – вяло сказал я, растирая окурок пальцами.

Славка хохотнул, но как-то невесело. Он обхватил голову руками, раскачиваясь и что-то бубня под нос.

– Лучше напиши на него телегу в обком, чтобы вздрючили гада за аморальное поведение... А что, – оживился он, – это идея! Чем он тут занимается, старый козел? Трахает пионервожатых?! И это называется воспитательная работа?! Пусть только попробует теперь что-нибудь написать на факультет! Он у нас под колпаком! Теперь мы ему устроим красивую жизнь.

– Ой, мальчики, – сердобольно отозвалась Люда, – не нравятся мне все это. Большой скандал будет, всем не поздоровится. Директор нехороший человек, не надо с ним связываться. Уезжать тебе, Миша, надо. В Питер. Скорее уезжать.

– Да нам всем надо отсюда валить! – жарко возразил Славик. – Пока не поздно. Иначе все тронемся головами. Пора. Ну и лето... А все почему? Ерундой занимаемся, вот почему. Творчеством надо заниматься, творчеством!

Славка завелся не на шутку, минут пять он толкал какую-то дикую в сложившейся ситуации истерически-сумбурную речь о пользе самоотверженности в искусстве.

– Ты написал стих, тот... который мне обещал, – цинично напомнила Люда, когда он выдохся. – Все только обещаешь.

– Напишешь тут... как же. Мне тишина нужна. Покой. А тут... Сергеев скоро точно меня из себя выведет. Майкл, ты представляешь, что он тут наемни учудил?

– Пойду, – сказал я, поднимаясь.

– Куда ты? – испугался Славик.

– Да не бойсь... Со мной все в порядке. Пройдусь немно- го. А то не в себе чуть-чуть. Душно. Извините ребята, не мо- гу!

Выскочил я опять в эту ночь с перекошенным лицом... Куда идти? Прямо как у Достоевского Федора Михайлови- ча: «А знаете ли вы, милостивые государи, что это такое, ко- гда некуда пойти?!» Пошел я куда глаза глядят. Быть может, с полчаса бродил вокруг озера, кажется, ругался вслух, ка- жется, даже, махал кулаками, представляя ненавистную ро- жу директора лагеря, устал, поранился, натыкаясь на пни и коряги, пока не обессилел окончательно. К себе я не мог вер- нуться, к друзьям тоже. Я пошел к Нине.

Свет в ее комнате не горел. Я постучал по стеклу и почти тут же увидел ее испуганное и радостно вспыхнувшее лицо. Она распахнула окно, и я ввалился внутрь мокрый и гряз- ный, как леший.

– Ты? Где ты... Что ты? Как ты? – бессмысленно бормо- тала Нина, разглядывая меня с изумлением. Она была в бе- лой ночной рубашке и зябко обнимала себя за голые плечи. – Какой ты мокрый... смешной... суслик мой лесной. Отрях- нись хоть. Лариска снотворное приняла, спит как убитая, но ты все равно... потише, а то ведь проснется и тогда мне со- всем житья не будет...

Я сел на стул, тяжело дыша, и выговорил глухо.

– Выходи за меня замуж!

– Что?!

– Я говорю: выходи за меня замуж. Что же тут непонятного?

– Когда? – растерянно спросила Нина.

– Сейчас.

Нина села на кровать и молча на меня смотрела.

– Не хочешь? – угрюмо спросил я, уставившись в пол. – Завтра поедем в город, подадим эти чертовы заявления, осенью справим свадьбу. Жить будем у меня, на улице Народной, вечерами будем в лес ходить, я буду работать... учиться. Ты не смотри на меня, я – хороший человек, добрый! Все для тебя сделаю! Хочешь?

– Хочу.

– Что? – я поднял голову.

– Я согласна, – повторила Нина дрогнувшим голосом. Глаза ее сияли.

– Да? – глупо спросил я.

– Да.

– А твои родители?

– Я уговорю их.

– А... а... – я запнулся. Признаться, я никогда еще не чувствовал себя так глупо.

Лариска громко храпела в своей комнате. Нина отвернулась к окну и что-то там долго и внимательно разглядывала.

– Миша, – вдруг спросила она.

– Ну?

– Ты... хочешь?

– Что? – спросил я, зная, что она знает, что я знаю

– Я не старомодна... не ханжа... я понимаю... Я много думала сегодня, после того как мы расстались. Ну, если это неизбежно... Какая разница, когда... Хочешь прямо сейчас? – голос ее осекся.

Я сидел, не шелохнувшись, чувствуя, как по спине медленно скатывается крупная, холодная капля пота.

Нина медленно поднялась, сняла с себя рубашку и, все так же не глядя на меня, легла под одеяло.

Повисла тягостная минута. У меня в голове вертелась фраза: «Извините, но это не то, о чем вы подумали». Слава Богу, я не произнес ее. Так я и сидел перед ней, сгорбившись, как бестолковый доктор перед тяжело больной.

– Ну что же ты? – прошептала она. – Иди ко мне. Не хочешь?

Я покраснел в темноте, как помидор. Не хотелось. Совершенно. Было неловко, было стыдно, было горько и во рту, и в сердце, было жалко ее. Не было только желания. Я даже на всякий случай пощупал себя между ног – нет, признаков большого серьезного чувства не было и в помине. Я услышал шуршание, почувствовал на своей руке ее горячую ладонь.

– Почему? – почти беззвучно спросила она.

Откуда мне было знать? Сколько раз в жизни я задавал своему организму это вопрос в подобной ситуации, но ответа так и не получил. Возможно, это была месть мозга за то,

что я совершенно измучил его сегодня взаимоисключающими задачами.

– Сидорчук?

Я кивнул.

– Что? Что она хочет? Разве ты должен подчиняться ей? Почему она командует нами? Почему она стоит между нами? Почему, почему, почему?

«По кочану», – как-то отрешенно, словно не про себя, подумал я, но вслух сказал.

– Ты не понимаешь... Ты не понимаешь, Нин...

– Что я должна понять?! Ты словно заколдован ею. Ты ее боишься! Миша, это невозможно, я сейчас пойду к ней, я объясню, что это невыносимо и дальше продолжаться не может. Я не боюсь ее! Да, да, ты так и знай! Не боюсь совсем! Я совсем не такая, как тебе кажется! Я не тихоня. И я не собираюсь ждать ее милости! Пойду!

– Нина! Нина! – глухо позвал я, затыкая уши. – Ты же ничего не знаешь! Ни-че-го!

– Что, что я должна знать? У вас тайна? Она шантажирует тебя?? Подожди, у вас... у вас что... будет... ребенок?!

– Да нет же! Нет!

– Но что тогда??!

И тут меня прорвало. Я упал головой в колени и рассказал ей все. Нина выслушала мой короткий сбивчивый рассказ в страшной тишине... и тишина нарастала с каждой секундой, давила меня в плечи, в спину, так что стало трудно дышать;

потом она откинула одеяло и попросила странным, отчужденным голосом.

– Не смотри, пожалуйста.

Она оделась в платье, накинула на плечи платок и села у окна.

– И что теперь? – спросила она.

Мне показалось, что в ее голосе появилась брезгливость.

– Не знаю... Возьму топор и зарублю этого гада. А заодно и эту суку!

– А заодно и меня, – холодно сказала она.

– Тебя-то за что? Если Сидорчук...

– Господин Иванов, – вдруг громко и властно произнесла

Нина, – я не хочу больше ничего слышать про эту женщину. Ни-че-го! И ни-ког-да! Ясно?

– Но Нина...

– Я же сказала – довольно!

– Но это невозможно! Что нам делать?

– Нам?! Лично я – собираюсь спать. А вам, пожалуй, не лишне будет объясниться с начальником лагеря. Перед утренней летучкой. Если он захочет. Можете вызвать его на дуэль.

– Нина? – с ужасом выговорил я.

– Хватит, хватит, хватит! Я прошу, хватит! – сдавленно и тихо выкрикнула она. – Я прошу. Пожалуйста! Это просто невыносимо! Прошу! Уходите! Сейчас же уходите! Это подло, это грязно, это... уходите немедленно!

Я даже испугался – столько в ее голосе было горечи и страсти. В темноте ее глаза блестели неукротимой яростью. Вдруг распахнулись ставни, и в комнату заглянула Сидорчук. Она переводила взгляд с меня на Нину.

– Ах, вот, значит, как? – наконец гневно сказала она и с треском захлопнула окно.

«Вот так! – подумал я, холодея и поднимаясь. – Финита ля комедия!»

Облом был полный. Я бы даже сказал, красивый. Оставалось уйти под бурные аплодисменты. Куда угодно.

Нина дрожала, согнувшись. Я встал над ней, собираясь сказать какие-то пафосные слова и не сказал ничего. В голове не было ничего, и в сердце. Только пустой звон в ушах, да какое-то мерзкое хихиканье.

– Прощай, – сказал я и полез на подоконник.

Очень мне хотелось услышать хоть что-то в ответ. Но услышал я лишь, как всхрапнула Лариска из соседней комнаты.

Ребята мои деликатно молчали, глядя в черные углы. День склонялся к закату. Пронзительно и надрывно вопили чибисы где-то в поле... Я откашлялся и продолжил.

– Я поплелся в свой отряд, как побитая собака. А что мне оставалось делать? Я был обложен и затравлен как медведь-шатун. Дверь в Натальину комнату была открыта, из

нее в рекреацию валил табачный дым. Я зашел прямо к ней, мокрый, грязный и злой. Она начала с порога.

– Мне надоело, черт побери...

– Заткнись. – тихо сказал я и посмотрел ей в глаза. В одну секунду они поняли все, наши блудливые измученные глаза, и разбежались со стыдом и испугом. В какой-то миг мне очень сильно захотелось ударить ее и она, словно догадываясь об этом, заслонила голову руками.

– Ты сука, – глухо выговорил я. – Ты поганая мерзкая сука.

Если бы она сказала хоть слово, я, наверное, все же ударил бы ее, кулаки мои сжимались и трясло меня порядочно от злого возбуждения. Но Наташка промолчала и даже не подняла головы. До сих пор благодарен ей за это!

До утреннего горна я провалялся одетый на кровати в своей комнатенке, не сомкнув глаз, курил, глядя в стену и думал, думал, думал что-то черное, бесконечное, унылое... То пытался найти утешение в бессмысленности и непознаваемости мира Герберта Спенсера, то утешал свою боль лютыми сценами мести. Слышал, как захрипело лагерное радио, слышал, как тихо встала Наталья, слышал топот детских ног и крики... В девять в комнату заглянула Сидорчук, спросила фальшиво-буднично.

– Ты пойдешь на завтрак?

Я промолчал, созерцая стену перед собой и кусая губы. Она не стала больше спрашивать и ушла.

После завтрака ко мне зашел Славка, сел у изголовья, по-

молчал, закурил.

– Наталья в штаб пошла, – сообщил он как бы равнодушно.

– Черт с ней, – буркнул я.

– Мрачная, как грозовая туча. Я ей: «Привет Наташа», а она как зыркнет глазищами, мол, проваливай! Я так мелкой куропаткой и прошмыгнул мимо. Все-таки страшная она баба. И откуда берутся такие? А? Мишель? Как вы тут с ней?

Я попытался пожать плечами, лежа.

– Мы с Андрюхой волнуемся, как бы там Мишель не учудил чего... Типа черепно-мозговой травмы. Это же такая черная гадюка. Святого доведет! Мне Людка рассказала, что она на курсе одного парня довела уже до больницы. Невроз бедняга заработал в сильной форме. Жениться на ней хотел, представляешь?

Я промолчал, но парня этого представил очень живо. Чем-то он напоминал меня, и это было мучительно.

– Вот ведь достанется кому-нибудь этакое сокровище! – продолжал добрый Слава, вздохнув. – Людка считает, что тебе надо сейчас как-то загасить ситуацию. Чтобы директор не написал чего-нибудь плохого на факультет. И вообще, черт с ними, со всеми, а, Майкл? Наша жизнь – творчество! Бабы не для нас. Андрюха говорит, что карма у нас такая... Писать, писать, писать надо, вот что! А не фигней мается! Это нам всем наказание. Андрюха, честно говоря, тоже плох. Гордейчик на него плохо действует. Почитал мне тут свой

последний стих, ты ведь знаешь, я люблю его стихи, но это – что-то запредельное, я ничего не понял. Говорит, что это новое слово в поэзии. Гордейчик ему свое фото подарила... А моя со мной опять не разговаривает. Вообще! – оживленно сказал он, словно вспомнив что-то радостное. – О чем-то думает. А я не спрашиваю. Специально. Она ждет, а я – нет, голубушка. Правда. Потому что спросишь – начнет тебя выворачивать наизнанку. Мне это надо? Недавно сказала мне, что я циник.

Славка вздохнул, топнул сандалией об пол.

– Какой же я циник? Разве мы циники, Майк?

– Мы мудаки, – проговорил я, с трудом ворочая языком. –

Но об этом никому не слова.

Славка обрадовался моему воскрешению, захихикал.

– Что хоть она говорит то? Наташка? Оправдывается?

– Говорит, что наш Мудищев предлагает ей свою руку и сердце.

– Да ты, что?! – с восторгом спросил Славка. – Правда?!

– И партийный билет в придачу, – сказал я, со скрипом поднимаясь. – Дай-ка лучше закурить, Хемингуэй хренов.

Наталья вернулась часам к одиннадцати. Славка уже ушел. Шумно зашла в свою комнату, шумно переоделась. Я слышал, как зажглась спичка, потом открылась моя дверь... Знаете, господа, я вдруг впервые увидел, что она красива. Да, да... Впервые я увидел в ней не б...ь. Она была бледна, под покрасневшими глазами лежали тени, но в лице ее было

столько восхитительной девичьей выразительности... В нем было все: и гордость, и раскаянье, и бесстрашие, и надменность, и испуг. И все это сменялось в ее черных глазах быстро-быстро, а губы дрожали, и прядь черных волос падала на переносицу, и она поправляла ее быстрым бессознательным движением. Я приготовил убийственные слова, но, увидев ее, похолодел от ненависти, боли и ужаса; я все забыл, я побледнел как покойник!

Долго мы не могли сказать ни слова, наконец, она произнесла.

– Я могу войти?

– Зачем? – деревянным голосом спросил я.

– Поговорить.

– О чем? – так же мертво спросил я.

– Ты знаешь...

– Не знаю.

– Но, Миша...

– И знать не хочу.

– Миша!

– Уходи.

– Миша, послушай.

– Дрянь!

– Миша! – голос ее окреп, глаза засверкали, а щеки покрылись румянцем.

У меня от ярости свело рот, я сжал виски ладонями.

– Проваливай.

– Хорошо, только...

– Проваливай, я сказал, к черту!! К черту!!!

Если бы она сказала еще слово, сделала еще одну попытку, я бы, наверное, сдался. Но она ушла, только каблук застучали по сухому паркету. И я понял, что все кончено. Реально. Все.

Мне стало так плохо и так страшно, что я вскочил и быстро оделся. Почти бегом я отправился в седьмой отряд. На крыльце я столкнулся с худенькой Лариской. Как всегда, на ней был какой-то зеленый мешок вместо платья. Она, зажмурившись, нюхала букетик фиалок. Вокруг нее лениво и отрешенно, как овцы вокруг пастуха, паслись пионеры. Я кашлянул. Лариска торопливо запихала букет в карман и уставилась на меня через огромные, круглые очки строго и немножко испуганно.

– Нинель дома? – спросил я, поморщившись от этого развязного, дурацкого «Нинель».

Пигалица хорошо уловила мое настроение и высокомерно вздернула красный носик.

– Ну, допустим.

– Что значит допустим? Дома или нет?

Лариска сдулась.

– Дома. Только ей плохо.

– Болеет что ли?

– Болеет, – с неожиданной злостью ответила пигалица. –

Как вчера пообщалась с некоторыми, так и заболела. Тоже,

ходят тут всякие... Ей покой нужен.

– Покой нам только снится, – пробормотал я и отодвинул ее от входа.

Нина лежала в постели с книгой в руках. Она сунула книжку под одеяло. Меня поразило, как осунулось ее лицо. На меня она не смотрела. Я стал рассказывать ей про разговор с Натальей, но она оборвала меня совершенно отчужденно.

– Миша, меня это не интересует.

– Как же это?

– Так. Разберись, пожалуйста, с ней сам. И, пожалуйста, я тебя очень прошу – голос ее дрогнул – не приходи ко мне больше.

Вот тут, каюсь, я потерял над собой контроль. Сорвался. Слишком много испытаний свалилось мне на голову за один день. Не помню, что я ей говорил. Помню только, что чем больше говорил, тем сильнее чувствовал, что назад мне уже дороги нет, и это еще сильнее распяляло меня. Я бросался в омут с губельным восторгом, как в песне Высоцкого, закончил я почти криком:

– Все вы одинаковые! Мелочные, ничтожные, тщеславные дуры!

Тут и отвечать нечего было. Согласны?

Вышел я на веранду, шуганул какого-то пионера, вертевшегося под ногами, посмотрел в голубое небо и сказал скукожившейся от страха Лариске.

– Иц э Грейт Бриттен энд Ноф Айленд!

Лариска попятилась. Я постарался улыбнуться ей приветливо.

– Детей береги... Они надежда наша. Дуреха...

Ну а остальное вы знаете и без меня.

Утром директор лагеря вызвал меня к себе в штаб и объявил, что я свободен. Что я раздолбай и все такое прочее. Что он будет писать на факультет. Что меня накажут. Отвел душу, старый дурень, одним словом. Я даже не оправдывался. Мне было до одурения хреново. Оказывается, Ковальчук сбегала к нему после нашего последнего объяснения и... уж не знаю, что она ему там наговорила, но только моя смена в лагере закончилась за день до прощального костра. А заодно он выгнал и Андрюху.

– Он нашел меня в душевой во время завтрака и разорался, что я не работаю и валяю дурака, – вспомнил Андрюха. – И что я могу собирать свои вещички. Я потом понял, почему он так обнаглел. Ему на вторую смену уже сосватали трех парней с какого-то факультета. Вот он и расслабился. Хорошо помню, как мы с Майком погрузились все на тот же автобус, который нас привез месяц назад ... Мы отчалили, а девчонки – Аллка, Ленка Афонина, Люда – стояли у штаба и махали нам вослед.

– Но Нины среди них не было, – сказал я. – И Натальи

тоже. В Ленинграде мы сдали с Андриюхой чемоданы в камеру хранения и поехали на Чернышевскую, в знаменитый в ту пору пивной кабак «Медведь». Там мы выпили по десять бутылок темного бархатного пива и едва живые завалились этим же вечером домой. Я что-то соврал родителям про конец смены, а Андриюха...

– А я зачем-то с порога признался, что меня выгнали, – весело признался Андрей. – Батя съездил мне по шее. А утром мы вместе с ним поехали на вокзал за чемоданом...

Мы долго сидели молча, глядя, как замороженные, в белый пепел костра и думали каждый о своем.

– Да, господа – наконец сказал я – Вот и конец этой истории. Мудрый и вполне закономерный конец. Нину я потерял, Наталью тоже. В это лето, господа, я потерял юность.

Мы возвращались домой уже поздним вечером. Солнце садилось за лесом; подморозило. Сухая земля весело трещала под ногами, мы шагали неспеша, грустные и умиротворенные. Целый час мы бурно вспоминали лагерную жизнь и расстрогались до слез.

– Ну, а теперь о главном – сказал я.

– Как? – воскликнули мои друзья – Это еще не все?!

– Не скоро сказка сказывается, подождите еще немного.

Я вам не говорил, а ведь я недавно встретился с Натальей Сидорчук.

Слава и Андрей остановились на дороге, как вкопанные.

– Когда?! Где?! Зачем?!!

– Объясняю, – сказал я с усмешкой, неторопливо продолжая путь и приглашая их следовать со мной. – Недели две назад меня замучила ностальгия. Просто не знаю, что на меня нашло. Вдруг вспомнился мне лагерь, юность моя беспокойная и так вдруг захотелось откусить хоть кусочек от всего этого... Ну, короче, найти Натали оказалось не сложно. Я знал, когда она должна была закончить юрфак, знал ее девичью фамилию, год рождения... Пробыл по своим каналам, выяснил, что работает некая Наталья Киселева, 47 лет, в адвокатуре города Тосно, девичья фамилия Сидорчук. Домашний телефон имеется...

Утром, запершись в кабинете, набрался смелости и позвонил. Ответил незнакомый женский голос с хрипотцой. Я представился, стал как-то ломано рассказывать про лагерь, про себя...

– Да, помню, конечно. – прервала она меня. – Мишка? Иванов? Помню...

– Вот, хочу встретиться как-нибудь, поговорить, вспомнить...

– Так приезжай, – сказала она просто.

– То есть... куда?

– В Сертолово, – она назвала адрес.

– Когда?

– Да прямо сейчас.

– Так ведь...

– Давай шуруй, жду тебя.

Я повесил трубку, мокрый от пота. Сердце колотилось бешено. Наталья была в своем репертуаре: «Шуруй!» Ко мне в кабинет заглянул Володька, опер-стажер.

– Михаил Владимирович, случилось что-нибудь?

– А что?

– Да вид у вас... Как из бани.

– Да уж, из бани... – я встал, подошел к окну. Дел, конечно, и уголовных в том числе, было невпроворот, с другой стороны, дел всегда много, всех не переделаешь, а жизнь одна, да весна еще какая-то необыкновенная... короче, вызвал я своего водителя Артура и велел седлать коня.

Через десять минут мы уже катили по набережной на выход из города как бы по делам исключительной важности. День выдался солнечный, один из тех теплых дней начала весны, когда дух захватывает от запаха мокрого асфальта, от прелой сырости оттаявшей земля, от колючего блеска горячего солнца в маслянисто-черных лужах, когда хочется влюбиться до одури и наделать глупостей. Даже водитель мой, молчаливый осетин, растрогался, стоило нам выехать на загородное шоссе.

– Весна-то пришла, Михаил Владимирович, а мы уж и верить перестали!

Я волновался до озноба. В Сертолово мы долго кружили между девятиэтажками, пытаюсь найти нужный дом, нако-

нец, я достал мобильник и перезвонил. Наталья нетерпеливо повторила адрес, потом сказала с досадой.

– Ладно, я выйду из парадной, встречу тебя так и быть, а то ты до вечера будешь колупаться.

Скоро мы нашли нужный дом и сразу, въезжая во двор, я увидел ее...

Я остановился, и друзья мои взволнованно и вопросительно на меня посмотрели.

– Ну и? Узнал?

– Представьте себе грузную плотную бабу с киевского рынка, одетую в бесформенное серое платье и серую мохеровую шаль, с шапкой лохматых лиловых волос, с широкими плечами, с лицом кирпичного цвета, с редкими, желтыми зубами, и вы поймете, что я ощутил, когда увидел ее...

Нет, я ничем не выдал своих чувств, выйдя из машины, я улыбался, мы обнялись, звонко, троекратно расцеловались, но внутри меня все словно обожгло и перевернулось от изумления и ужаса.

– Ну вот, ну как ты, ну вот и встретились, – бормотал я, стараясь не встречаться с ней глазами. – Так вот какая ты! Сколько лет, сколько зим!

– Ну, пошли в мою конуру! – скомандовала она и легонько подтолкнула меня к двери.

В тесном лифте мы поднялись на шестой этаж, она ключом открыла дверь и мы вошли в маленькую душную кухню, половину которой занимал стол. Наталья тут же достала

из холодильника бутылку водки, поставила ее на стол и две рюмки в придачу.

– За встречу!

Я объяснил ей, что на работе и за рулем, она недолго меня уговаривала.

– Как хочешь! – и поставила рядом бутылку пепси-колы.

Я сел на жесткий стул и плеснул себе пепси-колы. Водку в маленькую рюмку она налила себе сама и наливала потом через каждые пять минут, выпив, между прочим, за полтора часа целую бутылку.

– Так вот ты какой. Рассказывай красавец, как поживаешь.

Я рассказал ей свою жизнь без излишних подробностей, она слушала невнимательно, как следователь, который слышит мелкое вранье, курила, разглядывая со вниманием кончик сигареты, чесала то спину, то колено, усмехалась чему то... Когда я закончил, налила водку себе в бокальчик и динькнула об мой.

– Дослужился, значит, до начальников? Молодец. И как тебя в уголовку угораздило? А меня куда только не кидало! Я ведь сначала в прокуратуре пять лет отпахала, а потом юрисконсульт на заводе, три года в нотариате, даже начальником отдела была в собесе года два. Во как!

– Расскажи! Все подробности про себя расскажи, прямо от лагеря? – попросил я умоляюще.

Наташка вздохнула, налила себе рюмочку, выпила. Опять

вздохнула.

– Слушай, – она сощурилась, глядя на меня, и пуская дым в потолок, – а мы с тобой в лагере трахались? Извини, конечно. Я не помню.

– Понятно, – я даже не обиделся, скорее развеселился. – Мы с тобой все больше кроссворды решали. Не до секса было. А вообще, я представляю себе, как ты пожила все эти годы.

– Да как жила, – Наталья хмыкнула. – Обыкновенно. За мужем была всего пять раз. Официально. Двое деток у меня... Было. Один умер шесть месяцев назад.

Я крикнул. Она как бы даже не расслышала, провела только ладонью по глазам.

– Несчастный случай. На мотоцикле. Нехорошо умер. Там наркотики, ты знаешь... Жену откуда-то с Молдавии привез, а она наркоманка была законченная, потаскуха, каких свет не видел; я уж с ним сколько горя хлебнула, кто бы знал... А с этой стервой справиться не смогла... Погубила она его. Ну да ладно, чего там, все прошло уже... Второй умный, слава Богу, на компьютере учится, в очках. Собирается жениться скоро. Невеста из Питера, с квартирой...

– Я слышал, ты на третьем курсе замуж вышла, – кашлянув, спросил я, – за моряка.

– На втором, – поправила она строго. – Офицер-подводник. После свадьбы переехали в этот, блин, как его... Северодвинск, вот! Красивый парень, я тебе его фотографию по-

том покажу. Капитан третьего ранга. У меня тогда уже был ухажер, тоже курсант...

– Не Феликс ли?

– Во-во! Он самый. Ты его помнишь?! Феликс, точно! Ну и память у тебя. Он долбанутый был немного. Любил меня без памяти, а на самого в трезвом виде страшно было смотреть. И зануда жуткая. Измучил меня. Все замуж звал, а у самого фамилия была... Свидорович что ли? Я говорю ему: «На хрена мне нужна такая фамилия? На всю оставшуюся жизнь?» А у него условие было: только что б с фамилией. Ну и послала его на эту фамилию. А Леня, первый мой, был хорош. Красавец! Высокий, усы, как у тебя! Девки на шею вешались. Свадьбу в Европе играли: цветы, шампанское... Я на заочное из-за него перевелась, козла этого...

– Что, разочаровал?

– Да как тебе сказать, – третью рюмку она лихо плеснула себе в открытый рот. – Ревнивый. Я от него через полгода в одних туфельках по тундре, мимо блокпостов и вышек разных бежала. Как зека, ей-Богу! К железной дороге. Тебе смешно, а мне не до смеху тогда было. Догнал бы – убил бы точно. В Питере спасалась от него несколько месяцев, даже за паспортом не поехала, маму послала.

Я не стал спрашивать, что было причиной, и так было ясно.

– А второй?

– Второй был мент. Тоже из уголовки, кстати. Майор. От

него и родила своих хлопцев. Мы с ним весело жили, хорошо, – она улыbnулась, вспоминая. – Только он тоже драться начал. Да и пил, как лошадь. Сам знаешь, работа такая. А мне-то что, интересно бока ему подставлять? Да пошел он на хрен, мудака. Ушла, короче. А потом скоро и его выгнали с работы, он плохо кончил, повесился на даче...

Третий был гражданский, нотариус. Хороший мужчина, но квелый какой-то, все грустил, грустил, а чего грустил – фиг его знает... Я ему не раз говорила: «Костя (его Костей звали), ну что ты сидишь на диване, сопли жуешь весь вечер? Сходи на улицу, развейся. Почему ты не радуешься? Жена у тебя красивая, дети ухоженные, работа солидная, что еще нужно, как говорится, чтобы достойно встретить старость?» Нет, блин, все мечтал о чем-то. Стихи писал, – она задумалась, нахмутив лоб.

– Ну а четвертый? – напомнил я.

– Четвертый? Четвертого плохо помню, мы и прожили-то с ним совсем ничего. Он какой-то был со странностями. Любил, когда я его... даже неприлично как-то сказать... ну, в общем, знаешь, похоже он мазохист был. Мне то хрен с ним, если тебе нравится, когда, прости, Господи... Ну не буду об этом. Но ведь он и зарабатывал – курам на смех. Всю жизнь мечтала с альфонсом жить. Ну, короче, дала ему под жопу ногой. А вот пятый, – Наташка оживилась, потянулась к стопке, – хороший был. Полковник. Настоящий. Любил меня, а уж я его берегла! Ни о ком так не заботилась, как о нем.

Ведь это его квартира, ведомственная. На пенсию соби­рал­ся, да только видишь, помер вдруг. Сердце отказало. Мы с ним пять лет вместе. Хорошая была семья, скажу тебе. Он веселый был, не зануда. Не ревнивый, опять же... Мы с ним и в лес ходили, ведь тут недалеко лес-то, и на рыбалку! Дети к нему хорошо относились. И вдруг – такое горе...

– Инфаркт? – осторожно спросил я.

– Да вроде... Три месяца назад, прямо в больнице... Теперь я вот тут, доживаю. Дочка его собирается со мной судиться из-за квартиры, только у нее никаких шансов, можешь мне поверить. У меня в Питере тоже есть квартира, там Сережа, сын мой, живет сейчас. А я вот тут... доживаю свой век

Сказала она это просто, без рисовки, без грусти. Выпила она уже полбутылки, но не запьянела, и знаете, что меня похорошему удивило? Она не хвасталась, как многие пьяные. Эта ее черта очень симпатичная была и в юности: она совсем не умела хвастаться, мне кажется, и тщеславной по-настоящему она никогда не была; про своих мужчин она рассказывала с удовольствием, но без бравады.

– Работаешь? – спросил я из вежливости.

– Адвокат в Тосно. В областной адвокатуре. Сначала по гражданским, потом по уголовным делам. Мне нравится, знаешь... Работаю три дня в неделю, всегда могу освободить себе день-другой. Беру только то, что мне нравится, никакой крови и спермы, все, накушалась в свое время. Так, кра-

жи, грабежи... Тридцатник свой имею, а мне больше и не надо. Последнее дело, правда, неудачное. Десять эпизодов и по каждому следственный эксперимент! На прошлой неделе целый день по болотам ползали со следаком и этим чудилой, а у него эпизоды – то сумка с тремя рублями, то какой-то рванный свитер... Пацан еще совсем, напился, накурился какой-то дури, вот и бегал по полям, бросался на всех, как псих...

Завонил телефон, она взяла трубку.

– Да! Конечно. Проникающее? Острым металлическим предметом? Ну и чудненько. Пусть копают. Я завтра буду, разберемся. Все. Пока.

– Экспертиза разродилась, – пояснила мне, закуривая. – Я много дел не беру, всех денег не заработаешь, правду говорю? Ну а ваш брат работает – мама не горюй, слушай, где вы таких уродов только находите? Тут читаю один рапорт, в слове профессор три ошибки.

– Зато вы все продажные, – вяло и дежурно парировал я.

Наталья хохотнула, затушила хабарик.

– Ну, а ты? Как? Расскажи хоть о себе... Ты как в ментовку-то попал?

Я неохотно повторил свою биографию. Никакого желания хвастаться, приукрашивать не было, как это часто бывает в подобных случаях. Да Наташа и слушала невнимательно.

– Блин, пойдем же, я покажу тебе свои фотографии! – воскликнула она вдруг.

Мы прошли в комнату, поперек которой стоял низкий, расстеленный диван. Она села с альбомом посередине, я плюхнулся рядом, наши ноги прижались и мне стало неловко. Но не Наташке. Она перелистывала альбом

– Вот, это мой первый. Видишь? Красавец! А это на нашей свадьбе, а это Светка, ну ты ее знаешь, а это я с детьми, а это мой третий....

Я смотрел с волнением; мужчины были разные, красивые и не очень, Наталья полнела от мужа к мужу; с четвертым на меня уже смотрела дородная мадонна с мощной грудью, а пятого за плечо держала расхристанная шальная баба с хмельным блеском бесстыжих глаз... Все это было и увлекательно, и тягостно. Вдруг она крикнула: «А вот эту я подарю тебе!» – и протянула мне фотографию, на обороте которой я прочитал: «П/Л Сосново, 1979 год». Я перевернул снимок и тихо ахнул. Это была Она. Наталья Сидорчук образца 1979 года.

Красивая стройная девушка с милым задумчивым лицом, большими грустными глазами стояла на веранде дома нашего отряда. Как же непохожа она была на ту Наталью Сидорчук, которую я пронес в своей памяти почти тридцать лет! У нее был вовсе не волевой подбородок, а нежный, глаза под черными бровями были очень наивными, в красивых губах пряталась грустная усмешка... она обнимала деревянный столб изящной тонкой рукой, на ней было то самое джинсовое платье, которое я помню до сих пор... И в этой бунинской девушке было столько доверчивости, столь-

ко тонкой трагической печали, словно ее душа уже тогда знала всю ее дальнейшую непутевую бурную судьбу, что у меня на глазах навернулись слезы.

– Наташка, Наташка, – вырвалось у меня, – что же ты с собой наделала! Зачем? Какая же ты бестолковая дура!

Я испугался, но она не обиделась.

– Бери на память, – усмехнулась она. – Ужкаякая была, такая и есть, Миша. Пожила... не жалуясь. Не то, что некоторые. Мужики у меня были красивые, деток вырастила... Буду вот теперь клубнику на даче выращивать.

И сказала она это без пафоса, даже без горечи, закрыла альбом, небрежно кинула его в секретер. Я поспешно спрятал фотографию в пиджак, боясь, что она передумает.

Через полчаса я стал решительно откланиваться. Наталья уже была пьяна, бутылка была пустая. Разговор стал бестолковым, с матерком. Я обещал вернуться, чтобы сходить с ней на рыбалку. Перед дверью я набрался смелости и поцеловал ее осторожно в губы, она обхватила мой затылок, привлекла к себе и я почувствовал, как ее язык сладострастно проник в мой рот. Это совершенно не входило в мои планы. Я мягко освободился и открыл дверь.

– До скорого свидания.

Она смотрела на меня, как на ушедшую дичь.

– Ладно. Звони, не забывай.

Я выскочил из парадной, как из парной. Засидевшийся водитель с удовольствием ударил по газам, мы стремитель-

но выскочили на Выборгское шоссе. Я достал фотографию Наташи и еще раз посмотрел. Мне стало жутко. Она внимательно, серьезно смотрела мне в глаза, прямо в душу, прямо из лагеря «Сосново» 1979 года, как будто только дожидаясь сигнала, чтобы протянуть мне руки и мне вдруг стало так жалко и ее, и себя, и ушедшие в никуда годы, так пронзительно тоскливо сжалось мое сердце, так нестерпимо захотелось вернуться в этот чертов лагерь, в 79-й год, хотя бы еще на месяц, на неделю, что я беззвучно заплакал.

Артур увидел фотографию, быстро изучил ее цепким взглядом.

– Михаил Владимирович, это та женщина, которая вас встретила сейчас у парадной?

Я кивнул. Он вздохнул.

– О Матерь Божья, что делает с людьми время... Я тут ездил домой в прошлом году, встретил одноклассницу, любовь мою по юности... вай-вай! Лучше бы мы не встречались, Михаил Владимирович. Правду говорят, в одну реку...

Он еще что-то бормотал, мой верный Артур, я не слышал, слезы текли по моим щекам, от стыда я отвернулся...

Я не позвонил Наташе ни на следующий день, ни через неделю. Фотография ее хранится у меня на работе, иногда я достаю ее и смотрю подолгу, а потом мне плохо, а я все равно смотрю и не понимаю: что же это такое, вся наша жизнь с ее обманами и мечтами?

Вот и все господа. Я закончил.

Мы как-то непроизвольно остановились и огляделись вокруг. Серые сумерки сгущались. Наступил вечер. Деревья влажно чернели на темно-синем небе, в глубине леса слышно было, как гулко и торопливо долбит дерево дятел.

– Ну а Нина? – тихо спросил Андрей.

– А Нину я не искал. Мы с ней так и не виделись с того дня, когда расстались. Слышал я, что она вроде бы уехала в Америку в девяностые годы вместе с мужем. Интересно, что у меня никогда не было желания ее искать. Странно, правда?

И, знаете, ребята, у меня и иногда возникает странное ощущение, что не было в моей жизни ничего лучшего, чем тот лагерь. Правда. И никогда не будет.

– А вот этого нам не дано знать, – сурово возразил Андрей. – Может быть самое прекрасное еще впереди.

– Верно! – жарко вскричал я и пожал его руку. – Верно! Я тоже в это верю. Без этого невыносимо жить! Хочу! Хочу, что бы все лучшее вернулось!

– Так будет, – сказал Славик и присоединил свою руку к нашим рукам.